



Часть седьмая ГОСУДАРЬ И ОТЕЦ

Весной 1710 года Петр пожинал плоды полтавской победы. Русская армия, не встречая сопротивления, волной прокатилась по балтийским провинциям Швеции. К середине лета пал Выборг. Шведская граница была отодвинута от парадиза на сто верст к северу. Сбылась мечта Петра об основании «крепкой подушки Санкт-Петербурху».

В июле Шереметеву сдалась Рига и вся южная Лифляндия с городами Эльбинг, Дюнамюнде, Пернау и Кексгольм. По договору с Августом эти области должны были отойти к курфюрсту, но Петр передумал и оставил их за собой, гарантировав местному населению сохранение его прежних прав, привилегий, веры и обычаев. И наконец, спустя три месяца сдался Ревель — последний из плодов Полтавы был сорван. Царь был вне себя от радости: «Последний город Ревель генерал-лейтенанту Боуру на аккорд сдался, и единым словом изрещи, что неприятель на левой стороне сего восточного моря не только городов, но и степени земли не имеет».

Разнежившись в рае, который теперь был надежно охранен от нападений, Петр в сладких грезах мечтал о добром мире со шведом. За отсутствием трудов воинских занялся внутренними делами и празднествами. Ближе к зиме пышно справил свадьбу царевны Анны с курляндским герцогом. Но недаром говорят: что русскому хорошо, то немцу смерть. Девятнадцатилетний Фридрих Вильгельм не выдержал неумеренных возли-



яний за царским столом, заболел и на обратном пути скончался. Анна молодой вдовой приняла курляндскую корону.

Долга зимою ночь в Суздале... Инокня Елена, бывшая царица Евдокия, не спит, смотрит в чуть сереющие мерзлые окошечки кельи. Все здесь другое — избы, церкви, снега... А ей помнится Москва, златоглавые соборы, неземной колокольный звон, царское одеяние... Кажется, пора уже забыть старую жизнь, примириться с неизбежным, ан нет — сердце требует справедливости. А еще больше — любви. Чай, еще не старуха — какие ее годы! Может, и вправду все вернется? Говорил же игумен Сновидского монастыря Досифей, что будет она опять царицей на Москве после смерти царя. Дай Боже, дай Боже... Не спит Евдокия, смотрит в темноту, словно пытаюсь прозреть будущее, горячо молится.

Ее положение в Покровском монастыре по сравнению с первыми голодными годами и в самом деле значительно улучшилось. Теперь у дверей ее келий стояли шесть дневальных, два повара на монастырской кухне готовили для нее изысканные блюда за счет монастыря. Покупали для Евдокии мясо, а в расходных монастырских книгах писали: рыба. В праздники к ней приезжали из Суздаля архиеры, власти, земские с подарками — подносами рыбы, калачей, яблок. Она их угощала в монастырской трапезной.

Однажды принесли ей богатую меховую шубу — кланялся царице майор Степан Глебов, приехавший в Суздаль для набора рекрутов. У Евдокии захолонуло сердце, а почему, бог знает. Диктуя старице Каптелине благодарственное письмо, удивлялась сама себе, зачем это голос как будто не свой и грудь теснит. Когда же благодарила майора уже устно, поняла: не жить ей без него. Пусть женат, пусть беден — должны они быть вместе, знать, Господь так решил. Теперь ей и царства не надо, хоть всю жизнь просидит она в келье, лишь бы смотреть на ненаглядного с трепетом и боязнию.

Глебов и сам себе не мог объяснить, как все произошло. То ли Господь благословил, то ли бес попутал? Преступная связь приятно щекотала тщеславие, и в то же время в душе поднималась тревога. Да как теперь развязаться-то? Страстная любовь Евдокии



пугала его. Уезжая из Суздаля, со страхом читал он строки ее прощального письма: «Где твои мысли, батюшко мой, там и мои, где твои желания, там и мои; я вся в твоей воле». Нет, с этим надо кончать. Не хватало, чтобы он из-за бабы шею в петлю сунул.

И вот все неохотнее отвечает он на горячие Дунины послания, все реже и короче становятся их свидания. Глух остается батюшка к ее страстным призывам. Недоумевает Евдокия: может, отвлекают его служебные дела, может, жена от себя не отпускает или — страшно подумать! — прискучила ему ее любовь? Ужели она забыта? Так скоро! Значит, не сумела она привязать его к себе, мало забывала себя для него, мало орошала слезами лицо его и руки... И снова шлет Евдокия своему батюшке письма, а в них душа надывается в бессвязных причитаниях, в бесконечно повторяющихся ласковых словах ищет выход безысходная тоска и беззаветная любовь: «Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя! Знать, уж злопроклятый час приходит, что мне с тобой расставаться! А лучше бы душа моя с телом рассталась. Как, ох, свет мой, мне на свете быть без тебя, как живой быть? Уже давно мое проклятое сердце прослышало мне нечто тошное, давно мне все плакало. За что ты, душа моя, на меня был гневен? Что ты ко мне не писал? Для чего, батюшко мой, не ходишь ко мне? Отпиши ко мне, порадуешь, любонька моя, хоть мало...»

Но не тронулось сердце батюшки. Еще горше плачется и сетует Евдокия в безысходной тоске, и бьется, как подстреленная птичка: «Кто мое сокровище украде? Кто свет от очей моих отыме? Кто меня, бедную, с тобой разлучил? Ради Господа Бога, не покинь ты меня... Ей! Сокрушаюсь по тебе. Целую тебя во все члены твои. Не дай мне умереть».

И сердобольная Каптелина, заливаясь слезами над ее стенаниями, делала от себя укоризненные приписки в конце царичьих писем, чтобы пробудить совесть изменника и заставить его сжалиться над страданиями матушки.

Повелитель правоверных и тень Аллаха на земле султан Ахмет III благоденствовал на престоле седьмой год. Все это время рядом с ним в стамбульской тюрьме жил его свергнутый брат, бывший султан Мустафа II, — к удивлению всей Турции, не привыкшей к такому долголетию свергнутых султанов. Но одна



мысль о тайном удушении вызывала у Ахмета гримасу отвращения. Ведь жизнь так прекрасна! Аллах свидетель, он не желает зла никому.

И в самом деле, султан знал толк в жизни, точнее, в той тонкой восточной неге, превращающей действительность в радужный дымчатый сон. Ахмет любил женщин и поэзию, с удовольствием выводил кистью на шелке и бумаге пышные гирлянды цветов, отдавая предпочтение тюльпанам, строил красивые мечети и разбивал прекрасные сады. Берега Золотого Рога он украсил ожерельем роскошных павильонов в китайском и французском стиле и для отдохновения от государственных дел беспечно посиживал в них, окруженный любимыми наложницами, слушая сладкогласных поэтов и набивая пастилой и халвой рот наиболее отличившемуся. Зимой султан развлекался замысловатыми спектаклями китайского театра теней, после которых гостям раздавали драгоценные камни, сладости и почетные халаты; летом смотрел потешные морские бои и фейерверки; а весенними вечерами, в сопровождении придворных и музыкантов, Ахмет прогуливался по увешанному фонариками дворцовому саду, осторожно ступая среди сотен черепаш, ползавших в тюльпанах с зажженными свечками на панцирях.

Царствуя в благоуханной атмосфере «ляле деври»⁴⁶, Ахмет и не думал о воинских подвигах. Неожиданное появление в его владениях шведского короля наполнило мирный султанский дворец звоном шпор и бряцанием оружия.

Ахмет приказал бендерскому сераскиру⁴⁷ Юсуф-паше принять Карла со всеми почестями. Скоро оголодавшие шведы вволю объедались пряной бараниной, медовыми дынями и опивались обжигающим губы дымящимся черным кофе. Карл был спокоен и весел; единственной его заботой были деньги. Сначала выручила смерть Мазепы (Петр предлагал обменять изменника на Пипера, но король не предал своего горе-союзника; 22 сентября 1709 года Карл прохромал на костылях за гробом Мазепы до места его погребения под Бендерами). После старика

⁴⁶ То есть «эпоха тюльпанов», как называли время существования Османской империи с конца XVII по начало XVIII в. из-за повального увлечения этими цветами.

⁴⁷ *Сераскир* — главнокомандующий турецкими войсками в провинциях Османской империи.



осталось 80 000 дукатов, которые его племянник Войнаровский одолжил королю. Потом 100 000 талеров пришло из Голштинии, 200 000 талеров дали братья Кук из Левантской английской торговой компании, а султан объявил, что Высокая Порта берет на себя содержание, гостей. Однако денег все не хватало, ибо Карл привык раздавать золото горстями. Немало перепадало от него и бендерским янычарам, которые боготворили храброго и щедрого повелителя северных гяуров.

В декабре король оправился от раны и возобновил прежний образ жизни — полдня проводил в седле, а другие полдня утомлял солдат смотрами и маневрами. Вечерами иногда садился за шахматную доску, однако постоянно проигрывал, поскольку и здесь, как в настоящем сражении, стремился атаковать в основном королем. В Стокгольм он отправил безмятежное письмо: «Потеря очень велика, но неприятелю не удастся тем не менее одержать верх или извлечь какие-либо выгоды; необходимо лишь не падать духом и не выпускать дела из рук».

Стокгольмский сенат звал короля поскорее вернуться в Швецию, чтобы спасти то, что еще поддавалось спасению. Людовик XIV предлагал Карлу свой средиземноморский флот, чтобы доставить его во Францию и переправить на родину: король-солнце, потерпевший одновременно с Карлом сокрушительное поражение от войск герцога Мальборо и принца Евгения Савойского, ждал не дождался, когда шведский «гром небесный» снова обрушится на Восточную Европу и отвлечет на себя силы Австрии. Но Карл предпочитал оставаться в Турции, в надежде скоро повести турецкие войска на Москву.

Склонить султана к войне с царем было непросто, прежде всего потому, что Ахмет смотрел на все глазами своего селяхдара⁴⁸ Али-паши, державшего в своих руках управление империей. Али-паша вовсе не горел желанием начать войну с Россией, показавшей свою силу под Азовом и утвердившей военное могущество под Полтавой и Переволочной. Честолюбивые замыслы селяхдара были связаны со Средиземноморьем — он хотел вернуть Турции захваченные Венецией острова архипелага. Но дело Карла не было безнадежным. Селяхдаром был недоволен великий визирь Чорлула. Крымский хан Девлет-Гирей бесился оттого, что по русско-турецкому договору 1700 года он потерял

⁴⁸ Селяхдар — оруженосец.



право на русскую дань. Кроме того, Ахмет находился под сильным влиянием своей матери, султанши Валидэ, которая была очарована подвигами шведского героя и уговаривала сына «помочь льву сожрать царя».

Вначале переговоры с Портой вел Нейгебауэр — тот самый бывший воспитатель царевича Алексея, из мести царю поступивший на службу к Карлу. Он проделал с королем весь путь от Альтранштадта до Бендер и теперь сидел в Стамбуле, добиваясь аудиенции у султана. Ему противостоял русский посланник в Стамбуле Петр Андреевич Толстой. Этот пожилой боярин в седом — по европейской моде — парике, с умными голубыми глазами на исполненном достоинства лице, высоким лбом и кустистыми черными бровями был не новичок в восточной дипломатии. Именно он во время русского похода Карла удержал Турцию от каких-либо враждебных действий по отношению к России. Петр ценил одаренного дипломата, несмотря на то что Толстой в 1689 году до конца поддерживал Софью и Голицына. Порой, обняв его, царь приговаривал: «Эх, голова, голова, не сидеть бы тебе на плечах, не будь ты так умна!»

Вскоре на помощь Нейгебауэру прибыл генерал Станислав Понятовский. Вместе они начали борьбу с Толстым. Поначалу осилил Толстой: Нейгебауэр и Понятовский давали великому визирю пустые обещания, а Толстой — деньги Карла, захваченные под Полтавой и Переволочной. В январе 1710 года султан подтвердил условия договора между Россией и Турцией 1700 года. Относительно Карла было постановлено, что он выедет в Швецию через Польшу со своими людьми и под турецким конвоем.

Но Карл все не собирался уезжать из Турции. По его указанию Нейгебауэр и Понятовский должны были открыть султану глаза на то, что Чорлула подкуплен Толстым, а царь только того и ждет, чтобы захватить Карла в Польше. Дело было непростое. Действовать через самого великого визиря послы Карла не могли, а получить аудиенцию у султана в обход Чорлулы было невозможно. Тогда они решили воспользоваться старинным турецким обычаем подачи прошений султану. Во время еженедельного хождения султана в мечеть толпы людей осаждали его экипаж, окруженный стеной телохранителей: у тех просителей, которым удавалось просунуть руку с бумагой к султанским носилкам, Ахмет брал прошение лично. Понятовский и Нейгебауэр за большие деньги уговорили одного грека попытаться передать в руки



султану королевское письмо с обличениями великого визиря. Грек так шумел и напирал, что Ахмет взял у него бумагу. Чорлула был смещен; великим визирем стал Кёпрюлю Нуман-паша.

Новый визирь прислал Карлу 800 кошельков (400 000 талеров), но не войско. Более того, он указал королю другой, более безопасный маршрут в Швецию — через австрийские владения. Этого было достаточно, чтобы Карл начал подкоп и под Кёпрюлю. Через два месяца султан рассорился с визирем и сослал его. Государственная печать перешла к Балтаджи Мехмету-паше.

Между тем Петр в октябре 1710 года потребовал от Порты ясного ответа: когда будет выслан Карл? В случае дальнейшего промедления царь грозил «всякое воинское приготовление чинить». Но Петр переоценил русское влияние в серале. Нейгебауэру и Понятовскому не составило большого труда убедить Балтаджи, что царское послание оскорбительно для тени Аллаха на земле. На беду, в Стамбул явился еще и крымский хан, настроенный весьма воинственно. 20 ноября 1710 года на заседании Дивана было решено объявить войну России. Сразу же после оглашения султанского указа Толстого, по турецкому обычаю, схватили, сорвали с него одежду, посадили на старого осла и повезли по улицам Стамбула в Семибашенный замок — послы враждебных Порте стран содержались в заключении до окончания войны.

Все, кажется, складывалось в пользу Карла, однако его подданные добавили в бочку меда изрядную ложку дегтя: сенат отказался прислать новое войско в Польшу — Дания в это время разоряла южные области Швеции. Так по иронии судьбы Понятовский и Нейгебауэр добились от турок чего хотели, а Карл от шведов — нет.

В январе 1711 года крымские татары вторглись на Украину, вновь неся ее жителям смерть, разорение и тяжкий полон. Однако гетман Скоропадский быстро отбил нападение, причем в решающей битве погиб сын Девлет-Гирея. На юге России наступило затишье.

В конце февраля на Янычарском дворе Стамбула были подняты бунчуки — знак войны, и двадцать тысяч головорезов в красных шапках, расшитых золотом белых рубахах, пышных шароварах и желтых сапогах, повесив на плечи луки и мушкеты, выступили на север — к Дунаю.

Война началась, но дело опять пошло не так, как хотелось Карлу. Шведский король не был официальным союзником



Турции, кроме того, он был неверным, и потому султан наотрез отказался вручить ему верховное командование над правоверными. Карл получил лишь разрешение присутствовать в армии в качестве гостя, но, сочтя подобное положение ниже своего достоинства, с негодованием отверг его. Война началась без него. Если бы он мог предвидеть, что она без него и закончится!

Несмотря на воинственные заявления царя, новая война застала его врасплох. Он хотел только припугнуть Порту, — а что вышло? В то время как он спешит окончить войну со Швецией, не давая отдыха ни себе, ни стране, на Юге начинается тяжелая и в общем-то бесцельная война. Он чувствовал себя завидевшим желанный берег пловцом, которого сильная волна вновь относит в беспокойное море. И ладно бы еще война с турками. Но турки поднимались не одни: с ними нужно было ждать в гости старого знакомого, шведского короля. А между тем Польша все еще не надежна, бродит, как молодая брага; да и надежна ли старшина малоросская?

Сильно приуныл царь Петр.

25 февраля 1711 года в Кремле был торжественно провозглашен поход против неверных магометан. Преображенский и Семеновский полки стояли в строю на площади перед Успенским собором, а на их красных знаменах были вышиты кресты с древним девизом императора Константина: «Сим знаменiem победиши!» В соборе Петр призвал к священной войне против врагов Христовых, дабы загнать их обратно в дикие пустыни, откуда они пришли.

С тяжелым сердцем оставлял он Север, чтобы углубиться в южные степи. Вновь, как и два года назад, думал о Катеньке и детях: что-то будет с ними, если останутся одни? Уезжая, решил выполнить одно свое давнее обещание, о котором знали трое: он, она и Данилыч. 6 марта Петр тайно обвенчался с Екатериной. «Благодарствую вашей милости, — писал царь Меншикову, — за поздравление о моем пароле, еже я учинить принужден для безвестного сего пути, дабы ежели сироты останутся, лучше бы могли свое житие иметь, а если благой Бог сие дело окончит, то совершим в Питербурхе». Ночью Петр сквозь сон слышал рядом с собой длинные счастливые вздохи.



Петр I. 1711–1716 годы

Счастливую Екатерину Петр брал с собой, Данилыча оставлял в парадизе стеречь новые завоевания. Впрочем, уже не особенно доверяя вороватому князюшке, царь учредил новый высший государственный орган, коллективную замену своей особы — Правительствующий Сенат из девяти человек. Сенату вменялись в обязанность три главных дела: «деньги, как возможно, собирать, понеже деньги суть артериею войны»; «суд иметь нелицемерный и неправедных судей наказывать отнятием чести и всего имения»; «дворян собирать молодых для запаса в офицеры». А для лучшего надзора за означенными делами Сенату предписывалось выбрать обер-фискала, человека умного и доброго, какого бы звания он ни был, который должен за всеми делами тайно надсматривать и где увидит неправду — привлекать обвиняемого, «какой высокой степени ни есть», к ответу перед



Сенатом и там уличать. Доказав свое обвинение, обер-фискал получал половину штрафа с уличенного; но и недоказанное обвинение запрещено было ставить фискалу в вину, даже досадовать на него за это «под жестоким наказанием и разорением всего имения». В помощники обер-фискалу в каждом городе надлежало иметь одного-двух фискалов.

Скорейшему выступлению в поход мешала болезнь царя, несколько дней сряду державшая его между жизнью и смертью. Придя в себя, Петр ослабевшей рукой писал светлейшему, что «был болен скорбью такою, какой болезни отроду мне не бывало, ибо две недели с жестокими пароксизмами была, из которых один полторы сутки держал, где весьма жить отчаялся, но потом великими потами и уриною свободился и учусь ходить».

Едва выздоровев, Петр в начале марта выехал к армии. В пути его мрачное настроение несколько развеялось. В Яворове он с удовольствием увидел, что местная польская знать принимает Екатерину почтительно и обращается к ней «ваше величество».

Утешительные известия приходили и с предполагавшегося театра военных действий. Два вассальных Турции дунайских княжества, Молдавия и Валахия, объявили о своем желании перейти под руку единоверного московского царя. В Валахии в то время господарем был Константин Бранковяну, который отравил своего предшественника; в Молдавии прежний господарь Николай Маврокордато был свергнут Дмитрием Кантемиром. Положение обоих новых господарей было шаткое, они понимали, что, чью бы сторону они ни приняли, первый удар неминуемо обрушится на них. В этих обстоятельствах они предпочли заручиться покровительством сильнейшего — полтавского победителя.

Но если Бранковяну вел с царем тайные переговоры, то Кантемир был вынужден играть в открытую — царские войска приближались к Молдавии, и медлить дальше было нельзя. Он созвал совет бояр и спросил их, что ему делать. Бояре уклончиво ответили, что господарю, видимо, следует удалиться куда-нибудь подальше и ждать, на чьей стороне окажется победа. Тогда Кантемир прямо объявил им, что решил принять российское подданство. Бояре с облегчением вздохнули: «Ты правильно поступил, призвав русских освободить нас от турецкого ига. Если б открылось, что ты собираешься идти на соединение с турками, мы бы тебя покинули и сдались царю Петру. Так мы решили».



Русская армия насчитывала всего 40 000 человек пехоты и 14 000 кавалерии. Кантемир обещал пополнить силы царя 10-тысячным войском, а Бранковяну клялся привести с собой 30 000 валахов. Серб полковник Милорадович, перешедший на русскую службу, уверял Петра, что сербы признают над собой только одного государя — православнейшего московского царя. Из Болгарии приходили известия, что болгары только и ждут появления русских войск, чтобы начать резню турок.

Петр воспрянул духом. Он уже видел себя у ворот Адрианополя или даже самого Стамбула. Кантемир умолял царя поспешить, чтобы спасти от мести турок Молдавию и его семью — жену и трехлетнего сына Антиоха — будущего российского писателя, автора знаменитых сатир, и Петр торопил Шереметева со вступлением в Яссы. Эта спешка пошла на пользу русской литературе, ибо семья молдавского господаря обрела защиту, но очень навредила русской армии.

Шереметев с основными силами армии вступил в Молдавию. Петр рассчитывал, что фельдмаршал быстро пойдет вперед — к тому месту, где Прут впадает в Дунай, чтобы помешать переправиться туркам, но русская армия продвигалась чрезвычайно медленно, главным образом из-за недостатка в продовольствии и фураже. «Поспешать» — это слово Шереметев читал в каждом письме царя и все же опоздал — армия великого визиря успела переправиться на левый берег Дуная. Тем временем Петр вступил в Яссы. Кантемир устроил ему пышный и радужный прием. Личная встреча с господарем произвела на царя хорошее впечатление, Петр нашел, что Кантемир человек разумный и полезный в совете. Царь был настолько уверен в победе, что отослал назад, не выслушав, двух турецких послов, присланных визирем для переговоров о мире.

Великий визирь Балтаджи был настроен вовсе не воинственно. Это был сугубо мирный человек, никогда не бывавший в сражении. Принимая под свое начало турецкую армию, он заранее просил султана не поставить ему в вину возможную неудачу. Он весьма неохотно переправился через Дунай и еще неохотнее двинулся дальше на север. Но благодаря медлительности Шереметева начало кампании складывалось для турок как нельзя более благоприятно. Бранковяну не спешил последовать примеру Кантемира и открыто перейти на сторону царя, а когда увидел, что русские войска запаздывают, выдал туркам



припасы, заготовленные для русских и на русские деньги. Это предательство сказалось на русской армии самым сокрушительным образом. Поскольку вся Молдавия в это лето была опустошена саранчой, войско оказалось обречено на полуголодное существование. Жара и гнилая вода, от которой мерли лошади и люди, довершали картину бедствий. Во время унылых переходов по бескрайней, выжженной солнцем молдавской степи Петр ежедневно видел, как от нестерпимого зноя у солдат из глаз и ушей сочилась кровь, как многие, добравшись до воды, опивались ею и умирали, как другие убивали себя, предпочитая мгновенную смерть долгой пытке голодом и жаждой.

На военном совете, состоявшемся на берегах Прута, мнения относительно того, как быть дальше, разделились. Иностранные генералы Галларт, Энсберг, Остен и Берргольц, недавно принятые на русскую службу, советовали остановиться и ждать подхода турок, соратники же Петра по полтавской победе рвались вперед, навстречу визирю. Раз просил перемирия, значит, слаб. Петр поддержал сторонников наступательных действий. Кавалерийский корпус генерала Ренне двинулся к Браилову, чтобы побудить Бранковяну выступить против турок, остальная часть армии направилась вдоль Прута на юг. Шли вперед, даже несмотря на известие, что в тылу появился хан с ордой.

8 июля передовые отряды русских и турок встретились... и опешили от неожиданности. Ни одна сторона не полагала, что неприятель так близко. Визирь немедленно решил, что пропал, и первая мысль, которая пришла ему в голову, была мысль об отступлении. Понятовский, янычарский ага и Девлет-Гирей, успевший присоединиться к турецкой армии, общими силами с трудом укрепили его мужество. На другой день турки осторожно двинулись дальше на север.

Если визирь, думая об отступлении, наступал, то Петр, еще совсем недавно рвавшийся в бой, отступал. Из показаний пленного татарина царь с ужасом узнал, что двигается с 38 000 человек пехоты (кавалерия ушла с Ренне) против 120 000 турок и 70 000 татар. Тотчас был созван военный совет, дабы решить, «что в таком печальном случае делать». На этот раз споров не было. На другой день, 9 июля, русская пехота выступила в обратном направлении, вверх по Пруту.

Это был тяжелейший, ужаснейший переход, сравнимый разве что с походом к Гадячу. Но тогда рядом не было неприятеля.



Теперь же приходилось идти, отбиваясь от наседавших турок и татар. Спаги и татарские всадники в клубах пыли толпами проносились между телегами обоза, который в конце концов был почти полностью сожжен. Изможденная русская пехота страдала от жажды. Батальонные каре по очереди отправлялись к реке пить, пока другие отбивали атаки. К вечеру, достигнув местечка Станилешти, русская армия в изнеможении остановилась на высотах и принялась за рытье окопов вокруг остатков обоза.

В сумерках было видно, как необозримая темная лавина турецких войск охватывает русский лагерь. За три часа до захода солнца, не дожидаясь приказа от визиря, янычары бросились на штурм наспех возведенных лагерных укреплений. Испуская дикие вопли, взывая к Богу многократными «Алла!», «Алла!», с ятаганами в руках они бешено рвались сквозь рогатки, выставленные русскими. Однако русская пехота стояла твердо, а артиллерия каждым залпом опустошала ряды турок. Наконец янычары не выдержали и попятнулись. Их ага, рубя саблей беглецов, кое-как восстановил порядок и повел наиболее храбрых на второй приступ. На этот раз натиск турок был гораздо слабее, и они скоро отступили. Тогда, взявшись за лопаты и мотыги, янычары принялись окружать русский лагерь траншеями. К ночи к ним подвезли артиллерию, и 300 турецких орудий нацелили свои жерла на русский лагерь. Отступать дальше было некуда: русская армия оказалась в ловушке.

В темноте Петр обходил посты и укрепления лагеря, доверительно и ласково беседовал с офицерами и солдатами, ободрял их. Но на душе было скверно. Дело швах. Многие солдаты измучены до изнурения, а подкрепить силы нечем, даже воду достать непросто — надо под огнем турок ползти к реке. Земляных укреплений вокруг лагеря почти нет — сплошь и рядом их заменяют наваленные одна на другую туши павших обозных лошадей и наспех сооруженные рогатки. Знатная фортеция — куда там Вобану! А куда ни глянь — на холмах мерцают огни тысяч турецких костров. Утром общий приступ и — конец: турецкие пушки в щепы разнесут лагерь, а его, полтавского победителя, в клетке потащат по улицам Стамбула! Все усилия пойдут прахом, плоды одиннадцатилетних трудов рухнут в один день! Вот ведь, смеялся над Карлом, а сам повторил след в след все его ошибки. Зачем, зачем он поддался гордыне и забрался в глубь вражеской земли — без припасов и фактически без союзников?



Теперь расплачивайся — бесчестьем, позором, а может быть, и гибелью. Придется уступить все — все, что потребуют. Однако не это главная беда. В конце концов, то, что уступлено, можно вернуть, армию можно создать заново, но что будет с государством, если он, своею персоною, попадет в руки султана и Карла? Бородачи, чужебесы тотчас возьмут верх, разметают до колышка все, что было возведено с такими трудами, потом, кровью, бессонными ночами... Вот что червем гложет сердце, вот что душит грудь яростью и повергает в отчаяние!..

Посреди лагеря была вырыта яма, окруженная телегами и покрытая бревнами, — укрытище для Екатерины и ее дам. Петр спустился туда. Дамы рыдали, но Екатерина была спокойна, говорила, что ни о чем не жалеет и что она рада разделить судьбу своего супруга и государя. В порыве нежности Петр каялся перед ней, просил прощения за то, что погубил ее, но в глубине души был благодарен Катеньке за ее спокойствие.

Снова поднявшись наверх, царь обратился к командующему молдавскими войсками Некулаче: не сможет ли он проводить царицу с ее женщинами до венгерской границы? Некулаче не стал разыгрывать из себя героя. Побег заранее обречен. Даже если им удастся проскользнуть сквозь турецкие посты, то все равно вся Молдавия кишит татарской конницей...

И вот, наконец, блеснула зарница нового дня, который по всему должен был стать для русской армии последним. Но хотя турецкая артиллерия и открыла бомбардировку лагеря, янычары на новый приступ не пошли. Петр, больше удивленный, чем обрадованный, сделал вылазку. Русские нанесли туркам значительный урон и взяли языка, который показал, что янычары, устрешенные тем, что вчера потеряли семь тысяч своих, бунтуют и не хотят штурмовать лагерь; кроме того, турки обеспокоены тем, что в тылу у них корпус Ренне занял Браилов.

Петр пришел в крайнее возбуждение: он почувствовал в руках спасительную соломинку. Созвав военный совет, царь предложил послать к визирю вице-канцлера Шафирова с тем, чтобы узнать, на каких условиях турки готовы заключить перемирие. Шереметев без обиняков возразил: птичка может заливаться, сколько ей угодно, — кошка цепко держит ее в когтях. Но остальные генералы поддержали царя. Конечно, фельд-маршал прав, но отчего не попробовать решить дело миром?



Петр тут же сел за стол писать проект мирного договора. С мрачным реализмом лист за листом обрывал свой лавровый венок. Он готов отдать султану Азов, срыть Таганрог, уступить шведам Ливонию, Эстляндию, Карелию — все, кроме парадиза. Если мало — он поступится Псковом и другими землями. Всем, кроме парадиза. Позволит своему брату королю Карлу вернуться в Швецию на его условиях. Признает Станислава Лещинского законным королем польским. Выдаст великому визирю сто пятьдесят тысяч рублей, если он похлопочет перед султаном о мире.

Петр задумался. Что еще могут с него потребовать? Кажется, он отдал все. Если будут требовать парадиз, он прервет переговоры. Лучше смерть.

К полудню бумага была готова. Шафиров с белым флагом и трубачом отправился в турецкий лагерь. Едва он скрылся из виду, Петр словно обезумел, как будто только теперь осознал всю глубину своего позора. Царь пришел в такое отчаяние, что как полоумный бегал взад и вперед по лагерю, задыхаясь, бил себя в грудь — и не мог вымолвить ни слова. Большинство генералов думало, что с ним удар, но никто не осмеливался подойти к нему. Офицерские жены и придворные дамы выли и плакали, как на похоронах. Русский лагерь готов был превратиться в бедлам, но тут Екатерина вышла из ямы и увела царя в палатку. Положив его дергавшуюся голову себе на грудь, она принялась кончиками пальцев поглаживать его виски. Пусть Петруша успокоится. Все будет хорошо. Господь не допустит их гибели. Если будет нужно, она сама встанет рядом с дорогим супругом и поведет солдат в бой. Впрочем, ей почему-то кажется, что до этого не дойдет. Шафиров умница, он спасет жизнь и честь государя. Непременно спасет.

Петр постепенно затих.

Великий визирь тоже нервничал. Лазутчики доносили ему, что русские готовятся к бою, а Понятовский и татарский хан прожужжали ему все уши, что надо незамедлительно атаковать царя. Но кого бросать на штурм, если янычары отказываются идти в бой?

При появлении Шафирова у визиря словно гора с плеч свалилась. Вот он, перст Аллаха! Слава Всемогущему, не нужно больше никаких штурмов! Без дальнейшего риска и кровопролития он становится героем и победителем. Не внемля отчаянным призывам Понятовского и Девлет-Гирея, великий визирь



приказал прекратить обстрел русского лагеря и пригласил Шафирова в свой шатер.

Переговоры длились весь день и всю ночь. Наутро Шафиров известил царя, что визирь не прочь заключить мир, но тянет время. Петр отослал вице-канцлеру записку: соглашаться на все, кроме рабства. Русские войска не спали вторые сутки, готовясь к решительному бою, солдаты и офицеры пятый день не получали хлеба. За это время Петр еще дважды собирал военный совет, чтобы обсудить меры на случай, если нужно будет пробиваться сквозь кольцо турецких войск.

Эти приготовления и сыграли решающую роль в переговорах. Шафиров страдал визиря, что царь, загнанный в угол, будет драться до последнего солдата, между тем как подпись визиря под клочком бумаги тут же покончит со всеми тревогами и обеспечит Порте прочный и выгодный мир. Балтаджи отбросил восточные увертки и подписал мирный договор.

Документ, привезенный Шафировым, изумил Петра. На Юге он терял все завоевания 1696 года — Азов, Таганрог, право держать флот на Азовском море, — зато все сохранял на Севере. О Карле и его интересах в договоре не было сказано ни слова, кроме требования вывести русские войска из Польши! Визирь обязался пропустить русскую армию восвояси и даже выражал готовность снабдить ее припасами в дорогу. Единственной гарантией соблюдения условий мира, которой требовал Балтаджи, была выдача ему заложников — Шафирова и сына Шереметева. Оба они тут же и выехали в турецкий лагерь, везя с собой мирный договор с еще не просохшей под ним подписью Петра.

В русском лагере царило ликование. Если до приезда Шафирова все — от царя до последнего солдата — ходили, словно трубочисты, с ног до головы покрытые пылью и пороховой копотью, так что порой начальникам и подчиненным было трудно узнать друг друга, то теперь солдаты и офицеры надели парадные мундиры, расшитые золотом. Почетную капитуляцию праздновали, как викторию. Имя ловкого Шафирова было у всех на устах.

12 июля с распушенными знаменами и барабанным боем русские войска в походном порядке выступили из лагеря и к вечеру скрылись в степи.

Петр ехал в одной коляске с Екатериной, которая без умолку говорила о счастливом окончании похода. Царь хмурился и не отвечал. Она распорядилась подать им обоим перцовки. Щедро,



до краев, наполнила кубки жидким огнем и, расплескав на свое платье, протянула мужу: чтобы счастье и впредь сопутствовало всем его начинаниям! Петр принял кубок из ее рук. Счастье его заключается в том, что вместо ста палок он получил только пятьдесят. Опрокинув кубок в себя, он хрипло выдавил вместе с огненным духом: «Пришел, увидел, победил» — и грязно выругался. Потом посмотрел на Екатерину заблестевшими глазами, свободной рукой крепко стиснул ее стан. Да, пятьдесят вместо ста... В конце концов, не так уж много, не так много...

Карл мчался к Пруту по бессарабской степи. В кармане у короля лежала записка Понятовского о подписании великим визирем злополучного договора. Бешеная скачка продолжалась семнадцать часов. К вечеру 12 июля Карл подъехал к берегу Прута напротив русского лагеря. Ближайший мост находился в двенадцати верстах, и король, не теряя времени, направил коня в воду. Проехав покинутый русский лагерь, он, словно смерч, ворвался в расположение турецких войск и, как был — с запыленным лицом, в мокром платье и грязных сапогах, — упал на диван в шатре визиря, рядом с зеленым знаменем пророка.

После традиционной чашки кофе, выпитой в молчании, Карл заговорил — словно грозный бог войны с перетрусившим солдатом. Зачем великий визирь заключил мир с царем? И какой мир! От царя можно было потребовать в десять раз больше, с могуществом москвитов можно было покончить одним ударом. Распалившись, король покраснелся и кричал на Балтаджи, словно перед ним был его подчиненный. Визирь должен дать ему 20–30 тысяч янычар, и не позже чем послезавтра он приведет в турецкий лагерь плененного московитского царя!

Балтаджи слушал с невозмутимым лицом, не торопясь подливал себе кофе. Когда король, задохнувшись от ярости, умолк, визирь, не повышая голоса, сказал, что наделен султаном полномочиями вести войну и заключать мир. Русские — ужасные противники, и потому он счел за лучшее избежать с ними сражения, которое унесло бы много жизней правозверных. Впрочем, зачем он все это рассказывает его величеству? Король шведов уже имел случай отведать русское угощение. Если его величество так зол на русского царя, пускай атакует его со своими людьми,



а он, великий визирь Балтаджи Мехмет-паша, подписанного им мира не нарушит. Все турецкие земли возвращены — чего же еще желать от мирного договора?

Король схватился за волосы. Но разве не во власти великого визиря было все войско московитов?

— Аллах предписывает нам мириться с нашим врагом, когда он молит нас о сострадании, — ответил Балтаджи.

— Но предписывает ли твоя вера заключать невыгодные договоры для твоего государя? Разве не от тебя зависело привезти царя пленником в Стамбул? — не унимался Карл.

Терпение визиря лопнуло. Позабыв законы гостеприимства, он воткнул иглу своей язвительности в мякоть королевской гордости: а кто будет управлять государством царя в его отсутствие? Не подобает, чтобы все правители северных гяуров были не у себя дома.

Карл в упор посмотрел на него. На устах у короля играла презрительная улыбка. Внезапно сильным ударом шпоры он порвал полу расшитого золотом халата визиря, вскочил и вышел вон. Спустя несколько мгновений визирь услышал удаляющийся стук копыт.

Полог шатра приподнялся, вошел Понятовский. В это время снаружи раздался призывный крик муэдзина. Балтаджи встал и, не удостоив Понятовского взгляда, отправился совершать омовение.

Петр не спешил возвращаться в Россию. Как показаться людям после такого мира? Ему нужно было отдохнуть, стряхнуть уныние и, кроме того, оправиться от болезни, которая докучала ему в это лето. Отправив Екатерину в Петербург, царь оставил войско и свернул в Польшу. В Торуне пролежал несколько дней в постели из-за донимавшей его лихорадки, после чего отправился дальше, в Карлсбад на воды. Здесь его настиг жестокий понос; еще пуще донимали скука и вынужденная трезвость. Невелика радость хлебать солоноватую с тухлым привкусом водицу. Петр изливал свою тоску Екатерине: «Место здешнее так весело, что можно честною тюрьмою назвать, понеже между таких гор сидит, что солнца, почитай, не видать; всего пуще, что доброва пива нет. Аднакож чаем, что



от воды Бог даст доброе». Екатерина в ответ писала ему о своем житье-бытье: «Вчерашнего дня была я в Петергофе, где обедали со мной четыре кавалера, которым вместе 290 лет... И для того вашей милости объявляю, чтобы вы не изволили меня приревновать».

Из Карлсбада он поехал в Дрезден, навестить Августа. Остановился не во дворце курфюрста, а в гостинице «Золотое кольцо», где выбрал для житья низенькие комнаты привратника. Скука не оставляла его и здесь. Царь немного поиграл на теннисном корте, дважды посетил местную бумажную фабрику, где откатал несколько листов, часа два провел, зевая, у придворного ювелира Динглингера. Один придворный математик и механик Гартнер сумел занять царя. Петр с любопытством осмотрел его хитроумные изобретения и приспособления, особенно заинтересовался машиной для перевозки людей и вещей с этажа на этаж. Восхищенный изобретательным умом механика, царь отвалил ему на прощание охапку соболей — пусть сошьет шубу к зиме.

В начале октября Петр выехал в Торгау на бракосочетание царевича Алексея с принцессой Шарлоттой Брауншвейг-Вольфенбюттенской.

В прошлом году царь решил вырвать сына из рук ханжей и долгих бород. Его замысел состоял в том, что царевич должен получить европейское образование и европейскую жену. Германский император звал Алексея к своему двору в Вену, обещая относиться к нему как к сыну, но Петр предпочел дать царевичу в менторы своего старого друга Августа. На Дрездене сошлись оба замысла — и образование, и женитьба, ибо Шарлотта жила при саксонском дворе под бдительным присмотром своей тетки, польской королевы. Петр надеялся, что присутствие вольфенбюттенской принцессы, известной отменным воспитанием, облагородит Алексея и он стряхнет с себя старомосковские привычки.

Весной 1711 года Алексей приехал в Дрезден. Программа его образования была настолько европейская, что сам Петр не мог желать лучшего. Царевич засел за изучение профондиметрии и стереометрии, брал уроки танцев, рисования и фехтования, усвершенствовал познания в немецком и французском языках. Он собирал старинные гравюры и медальоны и буквально охотился за книгами — правда, только за теми, в которых освещалась



история церкви: царевича чрезвычайно интересовало взаимоотношение духовной и светской власти. Охоты и вкуса к светским наукам и искусствам у царевича по-прежнему не было. Выполняя танцевальные па и фехтуя рапирой, он кручинился о том, что не может вместо этого мирно побеседовать с каким-нибудь православным священником — царь запретил бородам и близко подходить к сыну. И вот, истосковавшись по духовной беседе, Алексей тайно просит своего духовника Якова Игнатьева прислать к нему батюшку, которому «мочно тайну сию поверить, не старого и чтоб незнаемый был всеми. И изволь ему сие объявить, чтоб он поехал ко мне тайно, сложа священнические признаки, то есть обрил бороду и усы, такожде и гуменцо (темя, выстриженное у священника при пострижении. — С. Ц.) заростить или всю голову обрить и надеть волосы накладные, и, немецкое платье надев, отправь его ко мне курьером... и вели ему сказываться моим денщиком... А о бритье бороды не сомневался бы он: лучше малое преступить, нежели души наши погубить без покаяния».

Яков Игнатьев, презрев царский гнев, откликнулся на просьбу своего духовного чада. Священник, отец Иван Слонский, благополучно добрался до Дрездена. На радостях царевич с компанией предались обильнейшим возлияниям, в которых — скорее волей, чем неволей, — принял участие и вновь прибывший отче. Во время одной из таких попоек Алексей написал Игнатьеву пьяным неразборчивым почерком: «Почтеннейший отче, привет тебе... На это письмо пролилось вино, чтобы, получив его, ты жил хорошо и пил крепко и помнил о нас... Все здешние православные христиане тут подписались... и печати приложили чашами и стаканами. Мы устроили этот пир за твоё здоровье, не немецким манером, а на русский лад».

Из Дрездена летом Алексей отъехал в Карлсбад на воды и там, в небольшом местечке Шлакенверте, познакомился с Шарлоттой. Внешность будущих супругов не могла вызвать восторг ни у одного из них: царевич был худ, суров лицом, крутолоб и очень неряшлив в одежде; лицо принцессы, некрасивое от природы, было обезображено оспой. Однако и отчаяния тоже не было. В письме к Якову Игнатьеву Алексей спокойно рассудил: «Так как мой отец не позволяет мне жениться на одной из наших соотечественниц и непременно требует, чтобы моею женою сделалась иностранка, то все равно, кто бы она ни была — пусть его будет хоть Шарлотта: она человек добр и лучше ее мне



здесь не сыскать». Шарлотта же написала матери, что жених оказался ей разумным и учтивым и что для нее большая честь быть избранницей царского сына.

После второго свидания Алексей официально попросил ее руки. Был составлен и подписан брачный договор — «к пользе, утверждению и наследству Российской монархии, также к вящей славе и приращению Браунгшвейского дома». Шарлотте предоставлялось право оставаться в лютеранском вероисповедании, но ее будущие дети должны были воспитываться в православии.

В ожидании приезда отца Алексей поселился у родственников невесты в замке Зальцдален, принадлежавшем владетельному герцогу Вольфенбюттенскому, деду Шарлотты.

Свадьба была назначена на 14 октября 1711 года в Торгау. Петр приехал в город накануне. На следующий день, в воскресенье, состоялась свадьба. Она проходила в интимной обстановке, чтобы избежать ненавистных для царя лишних расходов и церемоний. В большой зале королевского замка на трехступенчатом помосте под красным бархатным балдахином был поставлен стол, покрытый бархатом того же цвета: на нем лежали крест и венцы. По одну сторону стола стояли четыре кресла: для жениха, невесты, царя и польской королевы; по другую — три стула: для деда, отца и матери Шарлотты. Пол был устлан зеленым сукном, стены убраны драпировками. Холодный дневной свет не проникал в залу сквозь занавешенные окна, и вся она была озарена теплым пламенем свечей.

Торжественное шествие началось в четыре часа пополудни. Впереди выступали царь с сыном, за ними шли старый герцог с внучкой, следом — польская королева с родителями Шарлотты, и наконец, придворные дамы и кавалеры и свита царя. Венчал молодых русский священник. По окончании священнодействия царь поцеловал жениха и невесту. Потом, отозвав Алексея в сторону, сказал ему:

— Видишь ли, ты не можешь отказаться от старых обычаев, и бородачи все еще туманят тебе голову. Я теперь кладу всю свою надежду на влияние умной, добродетельной жены твоей. Если ты и в этой школе не исправишься, то останешься негодным навек.

Алексей молча потупился.

После ужина, на котором всех изумил огромный арбуз, присланный из Петербурга Меншиковым, и танцев Петр лично



отвел молодых в отведенные им покои. Наутро он же разбудил их и позавтракал с ними в спальне.

Женив сына, Петр посчитал себя вправе увидеть немедленные признаки его исправления. Не прошло и трех дней, как Алексей получил от отца предписание ехать в Торунь — готовить зимние квартиры и собирать продовольствие для русских войск, готовящихся зимовать в Померании. Напрасно дед Шарлотты, правящий герцог Вольфенбюттенский, просил царя позволить новобрачным провести зиму в его владениях — на все уговоры Петр отвечал, что царевич должен непременно принять личное участие в войне со Швецией. Разлучая сына с женой, не давая времени этим столь несходным по характеру и воспитанию натурам лучше узнать друг друга, Петр от нетерпения собственными руками разрушал свой замысел о перевоспитании сына. Гораздо больше проницательности проявила теща царевича, которая, пожимая плечами, говорила, что царю бесполезно приучать сына к войне, так как он предпочитает держать в руках четки, а не пистолет.

Отправив сына к армии, Петр сам еще задержался в Торгау. Тут-то Лейбниц смог, наконец, добиться у него аудиенции: царь клянувшись на обещание ученого изготовить для него какой-то необычный глобус и инструменты для проектирования укреплений. «У нас общее происхождение, ваше величество, — разглагольствовал Лейбниц при встрече, — оба мы славяне, оба принадлежим к той расе, судьбы которой еще никто не мог предугадать, и оба мы инициаторы поколений будущего века». Лейбниц хотел, чтобы Петр поручил ему заведовать школами в России; кроме того, он добивался места царского посланника при ганноверском дворе — тщеславное желание прослыть видным дипломатом было его слабостью, которая росла с годами. Но как ни старался знаменитый ученый, Петр не верил его заботам ни просвещение русского народа, ни угадывание его судьбы. Царь ограничился тем, что пожаловал ему чин советника юстиции и назначил жалованье (которое никогда не было выплачено). Кажется, он хотел сделать Лейбница Солоном на расстоянии, поручив ему писать и присылать в Петербург проекты реформ. Петр не мог испытывать особого доверия к человеку, который уверял его, что просвещение русского народа осуществить легко именно потому, что он менее других народов затронут цивилизацией. Может быть, царь



и пасовал перед философскими аргументами ученого немца, но опыт и здравый смысл говорили ему обратное.

Между тем продолжительное, трехлетнее отсутствие царевича тревожило его многочисленных приверженцев в России. Отголоском этих настроений стало «Казанье»⁴⁹ местоблюстителя патриаршего престола Стефана Яворского.

Во вторую неделю Великого поста в Успенском соборе при многочисленном стечении народа митрополит Стефан говорил слово о хранении заповедей Божиих. Через несколько дней текст этой речи лег на стол царю. Петр собственноручно выделил на полях три ее части: «О разорителях», «О фискалах» и «О наследнике». Первые две части осуждали нынешнее положение вещей — то есть деятельность царя, последняя — связывала надежду на улучшение с именем царевича. «Не удивляйтесь, что многомятежная наша Россия доселе в кровных бурях волнуется, — говорил митрополит Стефан, — не удивляйтесь, что при стольких смятениях доселе не имеем превожденного мира. Мир есть сокровище неоцененное. Но только те этим сокровищем богатыся, которые любят Господень закон; а кто закон Божий разоряет, от того мир далече отстоит. Боже мой! Колико злоупотребление заповедей Господних! Если только на этом свете обретаются бедства, губительство, моровое поветрие, глад, трус, потоп, огонь, меч, междуусобные брани, печали, болезни и прочая тьмочисленная лютость всякая — то все это от сего злого источника, то есть от преступления заповедей Божиих, от осквернения и разорения закона Господня происходит». И тут он разражался громовым словом против фискалов: «Закон Господень непорочен, а законы людские бывают порочны. А какой же это закон, например: поставить надзирателя над судьями и дать ему волю, кого хочет обличать, да обличит; кого хочет обесчестить, да обесчестит; поклеп сложит на ближнего судию — вольно то ему; а хотя того не доведет, что на ближнего своего клеветает, то за вину не ставит, о том ему и слова не говорить: вольно то ему. Не тако подобает сему быть: искал он моей главы, поклеп на меня сложил, а не довел: пусть положит свою голову; сеть мне сплел: пусть сам ввязнет в узкую; ров мне ископал: пусть сам впадет

⁴⁹ Речь, проповедь.



в оный, сын погибельный, чужою бо мерою мерити... А какой же закон порочен или не порочен, рассуждайте вы: я о законе Господнем глаголю».

В заключение шла молитва святителю Алексию о царевиче: «О угодниче Божий! Не забудь и тезоименника твоего, особенного заповедей Божиих хранителя и твоего преисправного последователя. Ты оставил еси дом свой: он такожде по чужим домам скитается; ты удалился еси родителей: он такожде; ты лишен слуг и подданных, друзей, сродников знаемых: он такожде, истинный раб Христов. Молим тебя, святче Божий! Покрой твоего тезоименника, нашу едину надежду, покрой его в крове крыл твоих, яко любимого твоего птенца, яко зеницу, от всякого зла соблюди невредимо. Дай нам видеть его вскоре, всяким благополучием изобилующа, и его же ныне тешимся воспоминовением, дай возрадоваться счастливым и превозведенным присутствием!»

Сказал местоблюститель слово обличительное, слово правдивое — и уже сам был не рад, пророчил себе участь Иоанна Крестителя: «От головы начинается рыба смердеть, от начальников множится в собраниях бедство... Ирод, егда слыша Иоанна Крестителя иных обличающа, в сладость послушаще его. Коснуся после Иоанна и самого безобразия Иродова: ваше величество! Ты и сам еси от других злейший, понеже ты подданным своим образ подаеши, от тебя мнози соблазняются... Здесь Ирод тотчас говорит Иоанну: молчи! В темницу его! За дерзость казнь да примет!»

Уже на другой день он написал царю смиренное письмо, в котором хотя и повторил, что непристойно быть фискалом, но... при духовном суде только. Заодно жаловался на обидчиков, на нищету, на тайных врагов и просил разрешения удалиться на покой и принять схиму.

Стефану никто не приказывал молчать, никто не сажал его в темницу. Петр знал, кого поставил в местоблюстители. Правду говорили люди о митрополите Стефане: «Что витийства касается, — правда, что имел удивительный дар, и едва подобные ему в учителях российских обрестися могли... он мог во учении слушателей привести плакать или смеяться, чему движения его тела и рук, помавание очей и лица применение весьма помогло... Он, когда хотел, то часто от ярости забывал свой сан и место, где стоял».

Когда хотел...



Вернувшись в Петербург в конце декабря, Петр с головой погрузился в дела северного театра военных действий, от которого теперь ничто не отвлекало его внимания. Правда, Прут все еще давал себя знать: царь плохо спал, его мучили кошмары. Однажды он увидел себя во сне наблюдающим за дракой хищных животных. Клубок переплетенных тел катался по земле, рыча и визжа, и вдруг из него выскочил свирепый тигр и двинулся прямо на Петра. Царь оцепенел от ужаса, но тут неизвестно откуда исходивший голос призвал его не бояться — и действительно, тигр чудесным образом внезапно замер на месте. Тогда откуда-то появились четыре фигуры в белом, которые вошли в самую гущу дерущихся зверей: их ярость сразу унялась, рычание прекратилось, и они тихо разошлись. Сон этот так поразил Петра, что, проснувшись, он по горячим следам занес его в записную книжку.

Спеша отблагодарить Екатерину за духовную поддержку, оказанную ему в тяжелые дни прутского окружения, Петр официально оформил свой брак с нею. Венчание состоялось в домашней церкви Меншикова. В качестве свадебного подарка царь преподнес Екатерине люстру с шестью рожками из слоновой кости и черного дерева, над которой он самолично трудился в течение двух недель. Английский посол Уитворт нашел, что в этот вечер все было превосходно: и общество, и торжественный обед, и венгерское, — а пуще всего то, что последнее не навязывалось гостям в слишком большом количестве.

Весной 1712 года военные действия на Севере возобновились. Прежних тревог у царя они уже не вызывали, поскольку проходили далеко от русских границ — в Германии, где шведы все еще владели Померанией, Бременом и Верденом с важными крепостями: Штральзундом, Штеттином и Висмаром. Союзные войска осаждали эти крепости, но дело шло туго из-за того, что Август и Фредерик IV никак не могли поладить между собой. В марте Петр поручил Меншикову возглавить русский корпус в Померании и сдвинуть дело с мертвой точки. Но вместо активных боевых действий, светлейшему пришлось спасать солдат от голодной смерти — царевич Алексей со снабжением армии не справился. Особенно худо с провиантом было под Штральзундом, где, доносил царю Меншиков, «уже корением питаться начинают». А саксонцы и датчане бездействовали.



*Петр I.
1711–1716 годы*

Летом Петр выехал на осаду Штеттина. Но и его прибытие не подвигло Августа с Фредериком на активные действия против шведов. Петр готов был продолжать осаду один, однако, к великой своей досаде, «не обрел» под стенами Штеттина артиллерии, обещанной датским королем. «И что делать, когда таких союзников имеем, — жаловался он Данилычу, который, в свою очередь, кис в бездействии под Штральзундом. — Я себя зело несчастным ставлю, что я сюды приехал. Бог видит мое доброе намерение, а их иных лукавство. Я не могу ночи спать от сего трактованья».

Фредерик слал ему в утешение орден Белого Слона, Август — орден Белого Орла, но ни тот ни другой не давали ни пушек, ни кораблей. Плюнув на такую войну, Петр в сентябре уехал на воды в Карлсбад.

По пути он заехал в Берлин проведать короля Фридриха. Нагрянув в гости без предупреждения, Петр поднялся



в королевские покои по потайной лестнице и застал старика в спальне играющим в шахматы с наследником, кронпринцем Фридрихом Вильгельмом. Все трое побеседовали с полчаса, после чего Петр получил приглашение на ужин. При дворе сбились с ног, готовясь к торжественному балу в честь приезда царя, однако всех ждало разочарование: в шесть часов вечера Петр запиской известил короля, что приехать не может. Оказалось, что, направляясь во дворец, царь встретил голландского мельника, с которым познакомился еще в первое свое путешествие по Европе, — владельца ветряной мельницы и небольшого домика с садом, в полумиле от города; Петр не задумываясь предпочел его общество званому обеду при дворе и провел вечер в дружеской беседе за кружкой пива.

Торжество перенесли на завтра. Петр постарался загладить свою бестактность. Вопреки обыкновению, он явился во дворец облаченным в красный камзол, шитый золотом, и был столь галантен, что протянул королеве руку, на которую предварительно натянул довольно грязную перчатку. За столом царь продолжал удивлять придворных. Посол Августа в Берлине Мантейфель доносил своему повелителю, что царь в этот вечер превзошел самого себя: «В продолжение всего вечера он не рыгал, не пер...л, не ковырял в зубах». Правда, его натура взяла верх в конце обеда: на прощание царь обнял Фридриха и, отдав общий поклон всей компании, вышел из залы таким размашистым шагом, что король не смог за ним угнаться.

В Виттенберге Петр осмотрел дом Лютера. В комнате великого религиозного реформатора царю показали чернильное пятно на стене — согласно легенде здесь перед Лютером предстал сам дьявол, и рассерженный монах запустил в искусителя чернильницей со своего письменного стола. Выслушав эту историю, царь рассмеялся: «Ужель сей мудрец верил, что можно увидеть дьявола?»

Он дотошно обследовал кляксу, даже потер ее посплывавшим пальцем и, когда его попросили расписаться на стене, сделал ворчливую надпись: «Чернила новые, и совершенно сие неправда».

Весь октябрь Петр провел в Карлсбаде. 11-го числа он извещал Екатерину: «Мы вчерашнего дни зачали пить воду в сей яме. А как отделаюсь, писать буду. О прочих вестях не спрашивай из сей глуши». Воды помогли. 27 октября он отписал



супруге: «Я курс вчера же окончил, воды, слава Богу, действовали изрядно. Как будет после?»

На обратном пути он уже не застал короля Фридриха в живых. Новый прусский король Фридрих Вильгельм на предложение царя немедленно открыть военные действия против шведов ответил, что ему вначале надо привести в порядок армию и финансы, на что уйдет не менее года.

На Пруссию пришлось махнуть рукой. Шведский генерал Стенбок двигался из Померании в Мекленбург, чтобы атаковать датско-саксонские войска, и счет времени шел на дни. Петр слал датскому королю курьера за курьером, советуя уклониться от сражения до прибытия русских войск, и одновременно умолял Данилыча поспешать на помощь союзникам. Фредерик и Август, однако, не вняли советам Петра. Располагая численным превосходством над шведами, они намеревались пожать лавры победы одни, и 10 декабря вступили в сражение со Стенбоком при Гадебуше. Разгром союзников был полный: шведы захватили всю их артиллерию и 4 000 пленных.

Петр был вне себя. Кампания этого года пропала даром. Подвигнуть шведов к миру опять не удалось.

А тут еще снова напомнили о себе турки, или, вернее, шведский король. Петр тянул с передачей туркам ключей от Азова и Таганрога, и Карлу удалось добиться смещения Балтаджи Мехмета-паши. На его место был назначен янычарский ага Юсуф-паша, который, к удовольствию короля, объявил новую войну России. Правда, эта война протекала без единого сражения и тихо закончилась в апреле 1712 года, когда Петр, наконец, выполнил свои обязательства перед турками на Азовском море. При этом ловкий Апраксин умудрился продать паше, который прибыл принять азовские крепости, орудия, порох, провиант и четыре негодных судна азовской флотилии. В конце года страсти снова разгорелись, так как султану стало известно, что Петр не только не вывел войска из Польши, как было условлено в мирном договоре, но и ввел туда новые. В Стамбуле вновь были подняты бунчуки, но Толстой, вышедший из Семибашенного замка, на этот раз уладил дело.

С грустью расставался Петр с черноморскими мечтами, жаловался: «Господь изгнал меня из этого места, как Адама из рая». Однако приходилось смириться с тем, что Черное море вновь превратилось в турецкое озеро.



Зимой 1713 года вся Европа с увлечением обсуждала новый подвиг шведского короля — быть может, самый удивительный военный казус со дня сотворения мира.

Султану Ахмету, наконец, надоели шведские интриги. С него хватит и того, что король заставил его сменить нескольких великих визирей и трижды объявить войну царю. Пора отправлять неугомонного вояку домой, в его владения.

Дважды писал султан «самому могущественному из королей, поклоняющихся Иисусу, защитнику угнетенных и обиженных, покровителю справедливости в государствах Севера, сверкающему в величии другу чести, славы и нашей Высокой Порты, Карлу, королю шведскому, предприятия которого Бог венчает счастьем», с вежливым, но твердым требованием покинуть Турцию — и оба раза Карл преспокойно оставался в Бендерах. На его упорство не повлияло даже то обстоятельство, что турки перестали снабжать шведов деньгами и припасами: Карл приказал забить подаренных ему султаном великолепных лошадей и кормил своих людей кониной, — благо после русского похода им было не привыкать к этому лакомству.

Тогда Ахмет решил употребить угрозы и, если понадобится, силу.

31 января с балкона своего каменного дома Карл увидел, как тысячи янычар и татарских всадников стали окружать небольшой шведский лагерь с облепившими его лавочками и кофейнями. Красные, синие, желтые флажки реяли над рядами застывших в ожидании турок, а на холме за ними развивалось огромное красное знамя — в знак того, что они будут теснить шведов до последней капли крови.

Шведы пришли в уныние; Карл, напротив, оживился. Что-то давненько он не вынимал из ножен шпагу. И вот — такой счастливый случай! Какое неравенство сил! Какая слава храбрым!

Кровопролития при желании можно было легко избежать. Янычары восхищались Карлом. Да будь у них такой султан, разве не пошли бы они за ним на край света? Они направили к Карлу своих старшин, которые умоляли короля довериться им и позволить сопроводить его домой, клянясь, что скорее дадут изрубить себя в куски, чем допустят какое-либо покушение на его жизнь и свободу со стороны царя или кого бы то



ни было. Но Карл намеренно вел дело к разрыву. Он велел янычарским старшинам убираться восвояси, в противном случае пригрозив подпалить им бороды. Ответ Карла еще больше восхитил янычар. Цокая языками и покачивая головами, они торжественно повторяли: «Железная башка, ай железная башка...»

По приказу бендерского паши 30 000 турок и татар двинулись на укрепления шведского лагеря, за которыми засело 300 человек. Большинство шведов тут же сложило оружие, но Карл с двадцатью драбантами и дюжиной слуг пробился в свой дом. В нем уже хозяйничали янычары, грабившие посуду и мебель. После короткой яростной схватки король выгнал мародеров из дома, уложив собственноручно двух или трех янычар. У Карла кровоточили нос, щека и мочка уха, задетые пулями, левая ладонь была глубоко рассечена между большим и указательным пальцами — в схватке король рукой отвел от себя лезвие ятагана, — но он как ни в чем не бывало подносил патроны драбантам, перестреливавшимся с турками из окон, на месте производил их в полковники и твердил только об одном: если они продержатся до утра, то стяжут такую славу, что изумят весь мир.

В схватке и перестрелке турки потеряли несколько сот человек. Обозленные потерями, они подожгли дом «железной башки». Пламя охватило здание, едкий дым разъедал глаза и затруднял дыхание, потолок вот-вот готов был обрушиться на шведов, но Карл бодро расхаживал между кашляющими драбантами и уверял, что, пока на них не горят платья, опасности нет никакой. Наконец, когда жар сделался невыносимым, король распахнул дверь дома и, выстрелив из пистолета, выбежал на улицу, увлекая за собой остальных, чтобы пробиться в соседний дом. Турки сразу узнали в человеке в прожженном, дымящемся мундире, с лицом, почерневшим от копоти, шведского короля и со всех сторон навалились на него — сераскир обещал шесть дукатов за поимку Карла. В свалке с него сорвали мундир, сломали ему ступню, но поделить пленника янычары не смогли и на руках понесли его к сераскиру. Карл сложил руки на груди и счастливо улыбался. В доме сераскира он попросил воды и сразу уснул на диване.

Вот как отплатил Карл султану за четырехлетнее гостеприимство. Бендерский калабалык⁵⁰ поставил точку в судьбе шведской

⁵⁰ *Калабалык* — суматоха, свалка, драка.



армии — ни один солдат, вышедший с Карлом из Саксонии, не исключая самого короля, не избежал смерти или плена.

Султан распорядился перевезти пленника в замок Демирташ, рядом с Адрианополем. В пути бендерский сераскир известил Карла, что он не единственный король-пленник, находящийся в Турции. Спустя несколько дней после калабалыка в Бендеры приехал Станислав Понятовский. Изгнанный Августом из Польши, он некоторое время укрывался в шведской Померании и каждую неделю писал Карлу письма, прося разрешить ему отречься от польского престола. Карл отвечал отказом или отмалчивался, и тогда Станислав инкогнито направился в Бендеры, чтобы увидеться со своим сюзереном. Там он и был арестован. Станислава ожидали плохие новости. С разрешения сераскира Карл направил к нему своего приближенного, который от имени короля объявил Станиславу, чтобы он ни в коем случае не заключал мира с Августом, так как в самом скором времени их дела поправятся.

Несмотря на всеобщее восхищение героизмом шведского короля, Карлом в Европе занимались недолго. Вскоре известие о калабалыке померкло перед еще более удивительной новостью — в апреле 1713 года державы, участвовавшие в одиннадцатилетней войне за испанское наследство, подписали мир в голландском городе Утрехте.

Одна война в Европе закончилась.

Зависть почувствовал царь Петр, огромную зависть, узнав об Утрехтском мире. А сколько же еще ему-то воевать? Права пословица: сосед не захочет, так и миру не будет. А ему-то вот уж послал Господь Бог соседку!..

Вместе с тем им овладела тревога. Как-то теперь поведут себя Англия, Франция и Голландия? У всех у них на уме одно: как бы не допустить Россию до моря.

Чтобы побудить Швецию к скорейшему заключению мира, Петр решил отнять у нее Финляндию. Генерал-адмирал Апраксин получил указание подготовить план сухопутных и морских операций. «Эта провинция суть титькою Швеции, — писал ему царь, — не только что мяса и прочее, но и дрова оттоль. И ежели Бог допустит до Абова (Або — шведское название города



Турку, тогдашней столицы Финляндии. — С. Ц.), то шведская шея мягче гнутца станет». Оставлять шведскую титьку за собой он не собирался — во время мирных переговоров послужит разменной монетой за Ингрию и Карелию. Преимущество финской кампании царь видел также в том, что там можно было воевать без союзников, только вставляющих палки в колеса.

До сих пор военные операции в Финляндии были невозможны без поддержки датчан, так как шведский флот, контролировавший из Карлскруны всю центральную и восточную Балтику, оставался грозной силой. Шведы имели 41 линейный корабль, в том числе пятидесяти- и стопушечные голиафы с командами из восьмисот человек, морских офицеров, владевших тактикой современного морского боя, опытные, обученные экипажи, вплоть до снайперов, отстреливавших с мачт вражеских офицеров. У России же еще и в 1710 году не было на Балтике ни одного линейного корабля. Но уже в следующем году Петр заложил на балтийских верфях несколько линейных судов, однако главную надежду полагал на закупку кораблей за границей. Он направил в Амстердам корабельного мастера Федора Салтыкова и князя Бориса Ивановича Куракина с тайным поручением «трудиться в покупке кораблей, ибо наша ныне война в том состоит». В 1712 году Салтыков сторговал десять кораблей с экипажами из наемников-иностранцев. Когда суда прибыли в Россию, царь тщательно их осмотрел. Его глаз опытного корабеля нашел, что закупленные корабли «достойны звания приемышей, ибо подлинно отстоят от наших кораблей, как отцу приемыш от родного, ибо гораздо малы перед нашими», а главное, «тупы на парусах», то есть имеют медленный ход. Салтыков оправдывался тем, что на отпущенную ему сумму ничего лучшего приобрести невозможно.

Посылать своих родных и приемышей против шведа царь не рискнул. На зиму, когда на Балтике встал лед, корабли поставили к причалу, сняли паруса, такелаж, стеньги, рангоуты; пушки сложили рядами, ядра — пирамидами. В Кронштадте и Ревеле высились бок о бок, как стадо спящих китов, громадные, перевернутые вверх килем корпуса, вмерзшие в лед на всю зиму. Весной их откилевали, то есть, перевернув на бок, заменили прогнившие доски обшивки, отскребли налипшие ракушки, заново проконопатили и просмолили швы; затем в обратном порядке поставили на борт такелаж и вооружение — и оставили



на приколе в порту: слишком дорогие игрушки, чтобы позволить шведу по-пустому разломать их.

Недостаток в линейных кораблях Петр решил восполнить галерами. Эти весельные одномачтовые суда веками использовались в Средиземноморье, где ветра переменчивы и ненадежны. В отличие от парусного флота, который в тактике морских сражений давно уже перешел от беспорядочных стычек времен сражений с Непобедимой Армадой к движению неприятельских эскадр параллельными курсами с обстрелом друг друга из тяжелых орудий, галерный флот все еще хранил традиции римских императоров и персидских царей: сближаясь на веслах, турецкие и венецианские галеры таранили вражеские корабли и бросали морскую пехоту на abordаж.



Ф. М. Апраксин. Неизвестный художник, первая половина XVIII века



Мысль об использовании галер на Балтике была нова и необычна: здесь до сих пор не видали этих судов. Петра галеры интересовали всегда, еще со времен азовских походов. И чем больше царь думал над этим, тем больше нравилась ему эта затея. Строить галеры можно быстро и недорого, благо сосны здесь вдоволь; не нужно искать опытных моряков для укомплектования команд — на весла можно посадить солдат, которые заодно возьмут на себя роль морской пехоты. А у финского побережья с его мириадами островков и фьордов на веслах можно прокрасться куда угодно, не вступая в бой со шведскими линейными громадинами. Нет, определенно, это счастливая мысль!

И вот на балтийских и ладожских верфях одна за другой стали шлепаться со стапелей на воду вместительные и вместе с тем маневренные галеры. К весне 1713 года галерный флот был готов. Возглавил его генерал-адмирал Федор Апраксин. Голландец вице-адмирал Крюйс поднимал свой флаг на одном из линейных кораблей, а контр-адмирал Петр Михайлов командовал поочередно то линейной эскадрой, то флотилией галер.

26 апреля 93 галеры и 110 лодок и карбасов с 16-тысячным десантом отчалили от петербургских пристаней, держа курс на Гельсингфорс. После артиллерийской дуэли шведский гарнизон оставил город; так же легко был взят и Берг. Петр не ожидал такого легкого успеха и шутиливо писал Екатерине: «Объявляю вам, что господа шведы нас зело стыдятся, ибо нигде лица своего нам казать не изволят». Впрочем, и сами русские охотнее смотрели господам шведам не в лицо, а в тыл. Стоило командующему шведскими войсками в Финляндии генералу Любеккеру занять на южном побережье сильную оборонительную позицию, как русские галеры, прижавшись к берегу, проскальзывали под носом у шведской эскадры дальше на запад и высаживали у него за спиной многотысячный десант. Любеккер отступал и отступал. Когда в сентябре русские войска заняли столицу Финляндии Або, шведский сенат всполошился: «Давайте решать, от чего нам лучше избавиться: от Любеккера или от Финляндии?» Любеккера заменили генералом Карлом Армфельдом, уроженцем Финляндии, но и он не сумел поправить дела. 6 октября его войска были разбиты при Таммерфорсе. За одну кампанию вся южная Финляндия перешла в руки Петра. Причем наиболее существенные потери русским нанесли не шведы, а небывалой силы шторм, потопивший три галеота с экипажами. Царь не очень

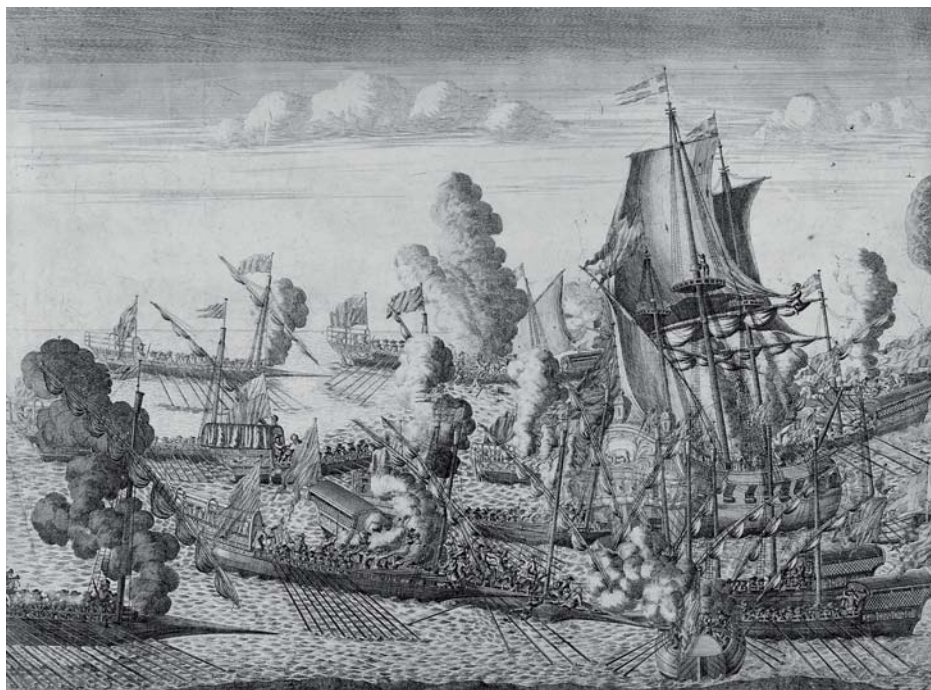


расстроился по этому поводу — «Нептун некоторую пошлину взял» — и просил только не сообщать о катастрофе Екатерине: знал, что отбою не будет от бабьих ахов и увещеваний пореже бывать на море, — как будто можно вести морскую кампанию из кабинета!

Гораздо страшнее Нептуна продолжал оставаться шведский флот, грозивший разнести в щепы русские галеры, если они попробуют сунуться в море.

Готовясь к кампании 1714 года, Петр увеличил Балтийский флот вдвое. К маю 200 галер и 20 линейных кораблей были готовы вступить в бой со шведом. Царь был преисполнен уверенности в успехе: «Теперь дай, Боже, милость свою! Пытать можно».

В конце июня 100 галер под командованием Апраксина вновь прокрались вдоль всего южного побережья Финляндии и остановились в западной части Ботнического залива, не решаясь высунуться за скалистый мыс полуострова Гангут, за которым крейсировала шведская эскадра адмирала Ваттранга — 21 линейный корабль и несколько мелких судов.



Сражение у мыса Гангут. Гравюра А. Зубова, 1715 год



Три недели Апраксин простоял в бездействии, дожидаясь царя. С прибытием Петра, 18 июля, была произведена рекогносцировка. На Гангутском полуострове был обнаружен узкий перешеек — всего 1 170 саженьей. В этом месте Петр распорядился устроить из бревен переволоку и перетащить на другой берег несколько десятков галер. Шведы также разделили свои силы.

26 июля на море установился полный штиль. Часть шведской эскадры — фрегат «Элефант» контр-адмирала Эреншельда и девять более мелких судов — не успела отойти к своим и беспомощно застыла на зеркальной поверхности воды. На рассвете следующего дня 20 галер на веслах обошли неподвижные шведские корабли, отчаянно палившие по русским, но из-за дальности расстояния только понапрасну тратившие порох и ядра. Уразумев грозящую им опасность, шведы спустили шлюпки на воду и попытались на веслах оттащить корабли подальше от берега. Это им не удалось. Тогда, ища укрытия, Эреншельд приказал втащить суда в узкий фьорд. Здесь он выстроил их в линию, перегородив фьорд от берега до берега. Шведская эскадра превратилась в береговую крепость.

Апраксин блокировал выход из фьорда и послал к Эреншельду парламентаря с предложением сдаться. Эреншельд ответил отказом. В три часа пополудни Апраксин поднял на своем корабле синий флаг, вслед за тем раздался пушечный выстрел — это были сигналы к началу сражения.

Шведы трижды артиллерийским огнем отгоняли галеры, но русские, не считаясь с потерями, снова и снова окружали окутанные дымом шведские корабли и бесстрашно лезли на abordаж. Со стороны сражение выглядело весьма необычно: как будто античность шла в бой против современности, а адмирал Апраксин уподоблялся сухопутному полководцу, бросающему в бой все новые волны пехоты. В первой атаке участвовали 35 галер, во второй — 80, и наконец, вся русская флотилия лавиной обрушилась на шведскую эскадру. Галеры просочились сквозь боевую линию шведов и надели на них сразу с двух сторон. Абordaжный бой кипел три часа, один шведский корабль даже перевернулся под тяжестью сражавшихся на нем людей. При этом шведы продолжали вести артиллерийский огонь, и многие русские солдаты, влезавшие на борт, были «не ядрами и картечами, но духом пороховым разорваны». После яростной резни на палубе шведские корабли один за другим переходили в руки



русских. Наконец и Эреншельд спустил на «Элефанте» флаг, а сам сел в шлюпку и попытался добраться до берега, но был перехвачен и взят в плен. Вместе с контр-адмиралом сдались 900 шведских моряков.

Петр в восторге приравнял Гангутскую победу к Полтавской виктории и вознамерился отпраздновать ее самым пышным образом. Отправив Апраксина занимать Аландские острова, царь вернулся в Кронштадт с трофейными шведскими кораблями. 7 сентября триумфатор под артиллерийский салют в 150 залпов вошел по Неве в свой парадиз. Впереди плыли три галеры, расцвеченные флагами, следом шли захваченные шведские корабли, замыкала процессию командирская галера Петра Михайлова. Корабли встали на якорь у Петропавловской крепости, а команда вместе с пленными шведами сошла на берег и продолжила торжественное шествие. Эреншельд выступал в сшитом для него по приказу царя роскошном сером камзоле, Петр красовался в зеленом с золотом мундире русского контр-адмирала. Победители и побежденные прошли под триумфальной аркой, на которой двуглавый орел держал в когтях слона — намек на флагманский корабль Эреншельда⁵¹; горделивая надпись под изображением гласила: «Российский орел мух не ловит». Сенат и князь-кесарь дружно произвели контр-адмирала Петра Михайлова в вице-адмиралы. Поблагодарив князя-кесаря и господ сенаторов за честь, Петр продолжил:

— Братья! Есть ли среди вас человек, который бы двадцать лет назад предвидел, что будет строить со мной корабли — здесь, на Балтике, и поселится в странах, завоеванных нашими трудами и храбростью!

Торжества по случаю победы, как обычно, сопровождались шутовскими выходками. На этот раз Петр затеял женить всешутейшего князя-папу Никиту Зотова. Невестой 84-летнего жениха была выбрана Анна Пашкова, девица шестидесяти лет из хорошей семьи.

Грандиозные приготовления к свадьбе начались сразу после гангутского триумфа и продолжались четыре месяца. Все участники шутовского действа — а их было несколько сотен человек: сенаторы, члены всепьянейшего собора, знатные придворные особы, сухопутные и морские офицеры, корабельные мастера

⁵¹ «Элефант» (лат. elephant) — слон.



и даже иностранные дипломаты, — два раза представляли на осмотр царю свои маскарадные костюмы, поскольку Петр строго требовал, чтобы в процессии было не более трех одинаковых нарядов. Каждый приглашенный помимо маскарадного костюма должен был обзавестись каким-нибудь музыкальным инструментом — барабаном, пастушеским рожком, колокольчиком, скрипкой или, на худой конец, бычьим пузырем, наполненным горохом, горшком, медным тазом или чем-нибудь подобным.

Накануне свадьбы в ноги царю бросился Конон Зотов, сын князя-папы, с горячей мольбой отменить брак: «Умилосердись, государь! Таким ли венцом пристойно короновать конец жизни отца моего?» Впрочем, из последующего разговора выяснилось, что молодой человек хлопочет из опасения, что мачеха ущемит его при разделе наследства: «Она идет для того в замужество, чтоб ей нас, детей его, лишить от Бога и от вас, государь, достойного нам наследства». Результат разговора с царем был неожиданным для Конона Зотова: Петр велел ему собрать пожитки и отправиться во Францию — изучать мореходное дело.

16 января, в трескучий мороз, открылось потешное свадебное шествие — от царского дворца, по льду через Неву, — к церкви Петра и Павла, где с трудом отысканный дряхлый девяностолетний священник дожидался у алтаря молодых. Процессию возглавлял князь-кесарь Ромодановский, наряженный царем Давидом и прикрытый медвежьей шкурой, с лирой в руках, — он ехал в санях, запряженных четырьмя медведями; пятый стоял на запятках вместо лакея. Под ударами кнута косолапые издавали оглушительный рев. Позади князя-кесаря на очень высоких санях ехали новобрачные, окруженные купидонами; на месте кучера сидел олень, на запятках стоял козел. Зотов был в полном папском облачении. За молодыми шумной толпой следовали маски. Граф Головкин и двое князей Долгоруких, облаченные в китайские халаты, играли на дудочках. Петр Толстой в турецком кафтане и шароварах гремел медными тарелками. Царевич Алексей в костюме охотника трубил в рог. Петр, наряженный, по обыкновению, голландским матросом, что есть силы бил в барабан.

И кого еще только не было в этой шумной толпе! Венецианцы извлекали пронзительные звуки из своих свистков, дикари из Гондураса потрясали копьями, поляки пиликали



на скрипках, калмыки тренькали на домбрах. В пестрой толпе виднелись норвежские крестьяне, лютеранские пасторы, католические монахи, епископы, раскольники, китобои, армяне, японцы, лапландцы, тунгусы... Нестройные звуки разнообразных музыкальных инструментов, рев медведей, звон колоколов, восклицания многотысячной толпы зевак — все слилось в одну невыносимую для уха какофонию.

Во дворце гостей принимали четверо самых страшных заик, которых только удалось сыскать. Стольниками и шаферами были дряхлые старики, едва державшиеся на ногах, ливрейных лакеев — подагрических обрюзгших толстяков — приходилось водить под руки.

Празднества по случаю свадьбы князя-папы продолжались до февраля.

Между тем Апраксин, опустошив шведское побережье, к зиме вернулся в Кронштадт, вновь потрепанный бурей, а не врагом. Петра рапирало от гордости за морские победы. Но среди торжеств, пиров и маскарадов нет-нет да и взгрустнется царю Петру: командуют-то флотом по-прежнему иностранцы — греки, венецианцы, датчане, голландцы; русским дворянам море противно, и на морскую службу ропщут они больше всего.

Пора исправлять нерадивых.

Той же зимой в Петербург по царскому указу съехались со всей России молодые дворяне в возрасте от 10 до 30 лет. Правда, многие, по примеру отцов своих, которые состарились, в своих деревнях живучи, а на службе и одной ногой не бывали, отвертели от царского смотра как могли: иные угрозами, иные взятками; кто на себя тяжелую болезнь напускал, а кто возлагал юродство и при подъезде царских гонцов в озеро по самый подбородок опускался. Те же, которые приехали в Петербург, и сами не рады были, ибо услышали, что надлежит им отправляться за море, для навигацкой науки.

Со слезами и сердечным сокрушением ехали дворянские недоросли в дальние края, где не бывали ни отцы, ни деды их, для дела мудреного, тягостного, несообразного со званием дворянским. Многие из них были уже женаты, имели детей, и один Бог ведает, сколько плачущих по ним оставалось в Москве и по усадьбам, во скольких домах тужили и сетовали о разлуке с любимыми и близкими, обреченными учиться проклятому ремеслу матросскому и погубить душу в греховном общении с заморскими недоверками.



Ехали навигаторы за море неохотно, с большими проводочками и остановками. А приехав в чужие земли: Венецию, Флоренцию, Тулон, Марсель, Кадикс, Париж, Амстердам, Лондон, — писали домой, что житие им пришлось самое бедственное и трудное, а наука определена самая премудрая: хотя бы им все дни живота своего на той науке трудить, а все равно не выучиться, ведь не знамо языка, не знамо науки... А они, как родные их и сами могут ведать, кроме природного языка никакого не могут знать. Царь же велит непременно учиться экипажеству, механике, навигации, инженерству, артиллерии, боцманству, математике. И, видя, что дело плохо, неудачливые ученики писали слезные прошения в Россию, чтобы их из науки взяли и определили на любую другую службу, потому что настоящая наука им не дается, а то, чему можно учиться, языка не зная, — шпажному и танцевальному учению, — к нужде его величества годно быть не может.

Из Отечества не было ни ответа, ни привета. Отчаявшиеся навигаторы убегали от науки на Афонскую гору, топили горе в редутах и аустериях — игорных и питейных домах, дрались и кололи друг друга шпагами на поединках. Богатые наскоро проходили европейские курсы пьянства и мотовства и, спустив с себя все дотла, продавали вещи и деревни, чтобы избавиться от заграничной долговой тюрьмы, а бедные едва не умирали с голоду и ради куска хлеба поступали на иностранную службу.

Читая письма навигаторов и слушая их рассказы, тверские, владимирские, ярославские и прочие дворяне не знали, какому святому молиться об избавлении от морской службы. В своей любви к морским волнам и соленому ветру царь Петр по-прежнему оставался одинок.

Семейные отношения между царевичем Алексеем и Шарлоттой разладились довольно быстро. Принцесса выехала к мужу в Померанию спустя шесть недель после отъезда Алексея. Разоренный войной край был не лучшим местом для медового месяца. «Дома наполовину сожжены и пусты, — писала Шарлотта матери. — Я сама живу в монастыре». Она жаловалась на отсутствие развлечений и на привычку местных дворян сидеть по своим имениям. Вскоре появляется и осознание своего



положения: «Я замужем за человеком, нисколько не любящим меня, но я ему предана по долгу совести. Царь со мной любезен, царица показывает вид, что меня любит, но в действительности она меня ненавидит. Мое положение ужасно!» К унижительному равнодушию супруга прибавлялись все унижения бедности, так как сумма, определенная царем на содержание семьи царевича, не выплачивалась. Меншиков, посетивший молодых супругов в апреле 1712 года, увидел в глазах Шарлотты слезы отчаяния. «Ни у него (царевича Алексея. — С. Ц.), ни у кронпринцессы к походу ни лошадей и никакого экипажа нет и построить не на что, — писал светлейший царю. — Я, видя совершенную у них нужду, понеже ея высочество кронпринцесса едва не со слезами о деньгах просила, выдал ея высочества Ингерманландскому полку из вычетных мундирных денег в заем 5 000 рублей. А ежелиб не так, то всеконечно отсюда подняться б ей нечем».

Через полгода — новая разлука. Алексей должен был участвовать в финском походе, а Шарлотта получила приказ царя переехать в Петербург и там дожидаться мужа. Семнадцатилетняя принцесса пришла в ужас — она боялась одна ехать в чужую страну, о которой ходило столько страшных рассказов. Ослушавшись приказа, она скрылась в замке своих родителей, но затем раскаялась и попросила у царя прощения за неповиновение. Петр дал ей свое благословение, выслал деньги, и весной 1713 года Шарлотта приехала в Петербург.

В начале августа в столицу возвратился и Алексей, поселившись с Шарлоттой в небольшом дворце на левом берегу Невы. Устав от противных его сердцу ратных трудов, он был рад любому случаю поспрашивать, повеселиться и потому первое время был любезен и обходителен с женой. Его запоздалые знаки внимания растрогали Шарлотту. Она все сносила и все терпела ради долга; но ради любви она была готова все простить и забыть. «Я люблю мужа безгранично и надеюсь быть с ним счастливою», — в самозабвении писала она матери.

Но вскоре настроение Алексея изменилось, и причиной тому была строгая требовательность отца. Царевич беспрекословно исполнял все его приказания, разъезжал всюду, смотрел, бранился и даже дрался там, где замечал недосмотры по делам, но все это за страх, а не за совесть, сам опасаясь батюшкиных побоев. При любой возможности он отлынивал от дела и с крайней неохотой встречался с отцом. Другим говорил, что не токмо дела воинские



его отца, но и сама особа его зело ему омерзела и для того всегда желает быть от него в отлучении. Когда его звали обедать к отцу, на спуск корабля или на прогулку в Летний сад, царевич со скрежетом зубовным начинал метаться по комнате: «Лучше б мне на каторге быть или в лихорадке лежать, чем туда идти!»

В присутствии отца он чувствовал прямо-таки животный страх. Как только царевич вернулся в Петербург, Петр приехал к нему. Царь был ласков, но, конечно, сразу заговорил о деле. Не забыл ли сын, чему учился за границей? Пусть-ка принесет чертежи, выполненные в Дрездене. При этих словах на Алексея напало тупое оцепенение. А вдруг батюшка заставит при себе чертить? Едва передвигая ноги, он поплелся в свой кабинет за чертежами. Роясь в ящиках письменного стола, он наткнулся на пистолет. С внезапной решимостью Алексей положил его дулом на ладонь правой руки и выстрелил. Когда перепуганный Петр вбежал в кабинет, Алексей с болезненно-счастливой улыбкой протянул ему обожженную порохом руку: вот, случайно задел пистоль, доставая чертежные принадлежности. К сожалению, чертить теперь он не может. Обмануть отца ему, конечно, не удалось. Петр пришел в ярость. Так вот каков результат заграничного учения!

И снова начались попойки с Нарышкиными и Лопухиными, беседы с попами и монахами. Семейная жизнь пошла вкривь и вкось. Раз, воротившись с пирушки в сильном подпитии, царевич в сердцах стал жаловаться своему камердинеру Ивану Афанасьеву, что канцлер Гаврила Иванович Головкин навязал ему на шею жену-чертовку (Головкин вел переговоры о женитьбе). Потом возвысил голос и закричал, что, если только будет жив, так оплатит ему — сидеть Головкину на колу. Афанасьев испуганно замахал руками: «Царевич государь, изволишь сердито говорить и кричать, ну, кто услышит и донесет?» Алексей не унимался. Плюет он на всех, его чернь любит. Вот когда будет время без батюшки, тогда он шепнет архиереям, архиереи — приходским священникам, а священники — прихожанам... Ну, что же господин камердинер замолчал и задумался? Афанасьев развел руками: «Что мне, государь, говорить?» Алексей посмотрел на него долго и пошел молиться в Крестовую. Проспавшись, царевич первым делом позвал к себе камердинера, обласкал и осведомился, не досадила ли он вчера кому, не сболтнул ли чего спьяну. Афанасьев пересказал ему его речи. Алексей



улыбнулся: «Я пьяный много сержусь и напрасных слов говорю много, а после о сем много тужу. Ты этих слов напрасных никому не пересказывай». Афанасьев обещался. «Смотри же, — продолжал Алексей, — если и скажешь кому, ведь тебе не поверят. Я запрусь, а тебя станут пытаться». Говорил и смеялся, глядя на растерянного камердинера. Афанасьев стоял и думал: царевич великое имеет горячество к попам, а попы к нему. Он почитает их, как Бога, а они его все святым называют и в народе его всегда хвалят и блажат. А ему-то, Афанасьеву, до всего этого что за дело? Была бы своя голова цела.

Но не одно духовенство склонялось к Алексею. Кланялись ему, соболезнуя и сочувствуя, потомки старых княжеских родов из ближайшего царева окружения. Пройдя отвратное их сердцу навигаторство, посидев в учебных классах и действительным военным трудом заработав себе чины генерал-майоров и бригадиров, они никогда не забывали о своем княжеском происхождении, всем им поперек горла стали Меншиковы, Шафировы, Девиеры, Ягужинские и прочая безродная сволочь. Князья Долгорукие, Голицыны, Шереметевы, Куракины не без надежд взирали на взрослеющего царевича. Князь Яков Долгорукий, объявив Алексею о своем к нему расположении, предостерегал, чтобы тот не ездил к нему на дом: «Так я тебе больше полезен буду». Князь Василий Долгорукий, один из лучших генералов и дипломатов Петра, говорил царевичу: «Ты умнее отца. Отец твой хотя и умен, да людей не знает, а ты умных людей знать будешь лучше». Киевский губернатор Дмитрий Михайлович Голицын переписывался с царевичем, а когда бывал в Москве или Петербурге, всегда заходил к нему с гостинцами и говорил, что он государю царевичу верный слуга. Рижский губернатор Петр Голицын и фельдмаршал Шереметев, адмирал Апраксин — тоже в друзьях у наследника. А дипломат князь Борис Куракин никогда не оставит царевича советом.

Откровеннее же всего из всех сподвижников отца Алексей мог говорить с Александром Кикиным. Попавшись однажды на воровстве, «дедушка» испытал на себе цареву немилость и с тех пор затаил на Петра злобу, сравнимую лишь с непримиримой ненавистью к царю духовника Алексея Якова Игнатьева.

Пропьянствовав всю зиму, царевич заболел. Доктора обнаружили у него чахотку и прописали лечение на карлсбадских водах. Петр дал разрешение на поездку. Шарлотта,



ходившая на восьмом месяце беременности, узнала об отъезде мужа последней. Когда почтовая карета была подана к крыльцу, Алексей, проходя мимо жены, бросил ей из-за плеча:

— Прощай! Еду в Карлсбад.

Царевич поехал на воды кружным путем — через Франкфурт-на-Одере, минуя Дрезден, чтобы не видаться с Августом, чья личность вызывала у него крайнюю неприязнь. Чего доброго, еще опять пристанет с образованием!.. В Карлсбад он прибыл в конце июля. Почти все дни Алексей сидел дома, потому что доктора пускали ему кровь банками. Но царевич не скучал. Купив знаменитое сочинение кардинала Барония «Церковные летописи», он с увлечением читал его и делал для себя выписки:

«Аркадий цесарь повелел еретиками звать всех, которые хотя малым знаком от православия отличаются».

«О владении Льва папы Цареградом не весьма правда».

«Валентиниан цесарь убит за повреждение уставов церковных и за прелюбодеяние. Максим цесарь убит оттого, что поверил себя жене».

«Хилперик, король французский, убит из-за отъему от церквей имения».

Книга проливала бальзам на его душу. Как все это далеко от фортификации, кораблей, солдатского строя, заготовок сукна и леса!

Тем временем Шарлотта страдала одна, под надзором трех повивальных бабок, которых ей навязали. «Я от горя умираю медленной смертью», — писала она матери.

12 июля 1714 года она родила дочь Наталью. Алексей никак не отозвался на это событие. Да и вообще за полгода его отсутствия Шарлотта не получила от него ни одной весточки. Петр и Екатерина, напротив, поздравили роженицу; царь, помимо того, сделал ей шутливый выговор за девочку.

Сроки заграничного лечения подходили к концу, царевичу нужно было возвращаться в Петербург. Ох как не хотелось ехать домой Алексею! В беспокойстве писал он Кикину, спрашивая, нет ли какого способа подольше остаться за границей, чтобы быть подальше от отца. «Когда вылечишься, — советовал «дедушка», — напиши отцу, что еще и весну надобно тебе лечиться, а меж тем поезжай в Голландию, а потом весной можешь в Италии побывать, и тем отлучение свое года на два или на три продолжить». Но царевич не решился обманывать



отца и в декабре поехал в Россию. Возвращался с мрачными мыслями и во хмелю говорил компании: «Быть мне пострижену, и если я волею не постригусь, то неволею постригут же. Мое житье худое!» В Петербурге Кикин, едва увидав его, спросил, был ли кто у него от двора французского. «Никто не был», — отвечал царевич. Кикин с досадой покачал головой: «Напрасно ты ни с кем не видался от французского двора и туды не уехал: король человек великодушный, он и королей под своей протекцией держит, а тебя ему не великое дело продержать».

На Шарлотту Алексей едва взглянул, не обнял, не поцеловал, а, спросив о здоровье, сразу ушел к себе. Шарлотта с горестью написала матери, что муж вернулся к прежнему и редко у нее появляется. Вскоре она узнала причину такого поведения супруга: Алексей завел себе любовницу, чухонку Евфросинью Федорову, крепостную девку его учителя, Никифора Вяземского. Однажды в солнечный весенний день Шарлотта осведомилась, где находится царевич. Ей ответили, что он гуляет в саду. Она вышла в сад и издали увидела мужа сидящим на скамейке вдвоем с Евфросиньей. Он нежно держал ее руку в своей, а Евфросинья громко хохотала и закрывала свободной рукой Алексею рот, как будто не хотела больше слышать его уморительных шуток.

Шарлотта замерла. Заметив ее, Евфросинья вскочила и хотела убежать, но Алексей удержал ее руку и, глядя на жену, в свою очередь расхохотался. У Шарлотты из глаз брызнули слезы обиды. Тут Евфросинья освободилась и побежала по аллее. Алексей, смеясь, крикнул ей вослед: «Фрося, не будь дурочкой!» — и быстрым шагом пошел за ней, не взглянув на Шарлотту.

После этого случая он открыто поселил любовницу в левом крыле дворца (в правом жила Шарлотта с дочерью). Женой Алексей совершенно не интересовался, при людях не разговаривал с ней и вообще старался держаться подальше. Он видел ее всего раз в неделю, когда мрачно являлся исполнить супружеские обязанности.

Шарлотта, забеременевшая вторично, терпеливо сносила свое унижение, никто не слышал от нее ни слова жалобы на мужа. Тем не менее Петр узнал обо всем и жестоко разбранил сына. Алексей вбил себе в голову, что Шарлотта ябедничает на него отцу, и с этих пор между ними происходили бурные сцены. Однажды царевич пришел к Шарлотте пасмурный



и выпивший. Она с ласковым видом стала просить его о принятии на службу одного знакомого иностранца. Но едва она произнесла несколько слов, как Алексей сурово глянул на нее и приказал замолчать. Шарлотта поджала губы и хотела выйти.

— Куда? — Царевич схватил ее за руку и бросил в кресло. — Опять хочешь идти жаловаться на меня моему отцу?

Шарлотта в слезах протянула к нему руки.

— Я все знаю! — бушевал Алексей. — У меня больше друзей, чем у отца и его иностранных приятелей. Придет время, когда я смогу отомстить тебе.

Она, рыдая, бросилась ему на грудь, но царевич с силой оттолкнул ее. Шарлотта ударилась о стену и разбила лоб. Царевич вышел, с яростью хлопнув дверью.

Здоровье Алексея слабело, но он продолжал ежедневные попойки. В апреле 1715 года его без чувств вынесли из церкви. Он был так плох, что его не решились везти домой и оставили на ночь в доме одного иностранца, расположенном рядом с церковью. На другой день Шарлотта навестила мужа и с участием написала родителям: «Я приписываю его болезнь посту и большому количеству спиртного, которое он выпивает ежедневно, ведь он всегда пьян».

В конце лета, недель за десять до разрешения от бремени, Шарлотта поскользнулась на лестнице, упала и ударилась левым боком о ступени. С тех пор она ощущала постоянную боль в боку и животе — «меня как будто колют булавками по всему телу». Тем не менее роды прошли благополучно. 12 октября у нее появился ребенок. На этот раз это был мальчик. Младенца нарекли Петром.

Первые четыре дня после родов Шарлотта чувствовала себя хорошо, на пятый день занемогла — у нее началась горячка. Консилиум врачей, собравшийся 20 октября, нашел, что положение больной безнадежно — сильнейшая лихорадка, неутолимая жажда, пульс частый и слабый, охладевшие конечности при внутреннем жаре, холодный пот по всему телу, жесточайшие конвульсии... Приходя в себя, Шарлотта слабым голосом говорила, что во всех суставах чувствует смерть, но умирает охотно, зная, что выполнила свой долг — родила России наследника. Накануне смерти она попросила позвать к ней царя. Петр и сам был болен и не выходил из дому уже неделю; однако поехал к невестке. Он явился перед ней в кресле на колесах. Шарлотта



попросила у него прощения и поручила ему заботу о ее детях и слугах. Доктора попытались дать ей какие-то лекарства, но она отбросила склянки на кровать и сказала с отчаянием в голосе: «Не мучьте меня больше, дайте мне умереть спокойно, я не хочу больше жить!..»

Алексей находился при жене неотлучно. Ее предсмертные страдания как будто открыли ему глаза — он безутешно рыдал возле ее постели и даже упал в обморок от отчаяния. Последнее примирение, возможно, и принесло утешение Шарлотте, но не вернуло ей желания жить.

Весь день 21 октября она провела в жаркой молитве и в одиннадцатый час вечера умерла. Тело ее, согласно ее воле, погребли, не бальзамируя, в Петропавловском соборе⁵².

О Шарлотте горевали недолго. На следующий день после ее похорон Екатерина родила сына — тоже Петра. Поминки сменились веселыми пирами, продолжавшимися восемь дней. На мужском столе из огромного пирога выскакивала голая карлица, в шляпе и бантиках, разливала по бокалам вино и провозглашала здравицу новорожденному. На женском столе то же самое проделывал обнаженный карлик. Вечером гости уезжали на острова, где любовались фейерверком.

Петр не мог нарадоваться рождению сына, «пишечки», как ласково называл он его в разговорах с Екатериной. Теперь с Алексеем, непотребным сыном, можно поговорить и другим языком.

Сидел раз за царским столом, возле государя, флотский лейтенант Мишуков. Уже порядочно выпив, он задумался и вдруг заплакал. Петр очень любил и ценил Мишукова за знание морского дела и ему первому из русских людей доверил целый фрегат. С удивлением и участием спросил царь лейтенанта, что

⁵² Позже в Европе распространился слух, что Шарлотта бежала из России в Соединенные Штаты Америки и в Луизиане вышла замуж за французского лейтенанта — не то Обера, не то д'Обана. Затем она якобы возвратилась в Европу, жила в Иль-де-Франсе, Париже и умерла в глубокой старости в Брюсселе. Версия эта, конечно, всячески поддерживалась романистами — вплоть до конца XIX в. История распорядилась судьбой младенцев по-своему. Петру Петровичу суждено было умереть в 1719 г., между тем как Петр Алексеевич стал российским императором Петром II.



с ним. Мишуков, не стесняясь, громко объявил причину своих слез. Все, что ни есть вокруг, — место, где они теперь сидят, новая столица, возле моря построенная, Балтийский флот, множество русских моряков, наконец, и сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милости государя, — все это создание его, государевых рук. И вот, как вспомнил он все это да как подумал, что здоровье его, государя, все слабеет, так и не мог удержаться от слез. «На кого ты нас покинешь?» — горестно добавил Мишуков.

— Как «на кого»? — возразил Петр. — У меня есть наследник-царевич.

— Ох, да ведь он глуп, все расстроит.

Петр быстро глянул на него. Ему понравилась звучавшая горькой правдой откровенность моряка. Однако для таких слов надобно и место знать. Царь с усмешкой треснул Мишукова по голове.

— Дурак! Этого при всех не говорят.

Спустя шесть дней после смерти Шарлотты, в день ее похорон, Алексей получил от отца письмо. Распечатал, взглянул: длинное. Несколько страниц, озаглавленных: «Объявление сыну моему». От нехорошего предчувствия сжалось сердце. И действительно, Петр в последний раз требовал от сына исправления, грозя в противном случае лишить его права наследования.

«Понеже всем известно есть, — читал Алексей, — что пред начинанием сей войны наш народ утеснен был от шведов, которые не толико ограбили нас столь нужными Отечеству пристанями, но и разумным очам к нашему нелюбозрению добрый задернули заневес и со всем светом коммуникацию пресекли. Но потом, когда сия война началась (которому делу един Бог руководцем был и есть), о коль великое гонение от сих всегдашних неприятелей, ради нашего неискусства в войне, претерпели, и с какою горестию и терпением сию школу прошли, дондеже достойной степени вышереченного руководителя помощь дошли! И тако сподобилися видеть, что оный неприятель, от которого трепетали, едва ли не больше от нас ныне трепещет».

«Когда же, — вздыхал далее Петр, — сию Богом данную нашему Отечеству радость осмотрев, обозрюсь на линию наследства, едва не равная радости горесть меня снедает, видя тебя, наследника, весьма на правление дел государственных непотребного (Бог не есть виновен, ибо разума тебя не лишил



и крепость телесную не весьма отнял: ибо хотя не весьма крепкой природы, обаче и не весьма слабой); паче же всего о воинском деле ничего слышать не хочешь, — чем мы от тьмы к свету вышли... Я не научаю, чтоб охоч был воевать без законной причины, но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить: ибо сия есть одна из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона». Никаких отговорок не желал слушать отец: «Слабостию ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон! Ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая слабость отлучить не может». И приводил в пример своего брата, царя Ивана, государя несравненно более царевича болезненного, который, однако, воинское дело постоянно пред очами имел, и Людовика, короля французского, который хотя сам на войну и не ходил, но такую великую к ней имел охоту, что войны, которые он вел, театром и школою света называли!

«Сие все представляя, — продолжал царь, — обращаю паки на первое, о тебе рассуждая: ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому вышеописанное с помощью Вышнего насаждение и уже некоторое возвращенное оставляю? Тому ли, кто уподобился ленивому рабу Евангельскому, вкопавшему талант свой в землю (сирень все, что Бог дал, бросил)? Еще же и сие вспомню, какого злого и упрямого нрава ты исполнен! Ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не только бранил, но и бивал к тому ж, сколько лет, почитай, не говорю с тобой, — но ничто сие не успело, ничто не идет на пользу, все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться... Однакож всего лучше, всего дороже — безумный радуется своею бедою (истину Павел святой пишет: “Како той может Церковью святой управить, иже о доме своем не радит?”), не ведая, что может от того следовать не только тебе, но и всему государству».

Алексей чувствовал слабость и оцепенение во всем теле, как будто слышал строгий отцовский голос, видел грозный отцовский взгляд. Не к добру, не к добру ведет батюшка, какое еще мучение он измыслил? А, вот и главное...

«Обо всем этом с горестью размышляя, — заканчивал Петр, — и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей последний завет тебе написать и еще мало пождать, аще нелicenseмно обратишься. Ежели же нет, то извещен будь, что я весьма тебя наследства лишу, и не мни себе, что один ты у меня сын, и что я сие только в утрастку пишу:



воистину исполню, ибо за мое Отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя, непотребного, пожалеть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный».

Не ждал Алексей такого грозного послания. В смятении кинулся он советоваться со своими доброхотами. Сначала поехал к графу Апраксину и князю Василию Долгорукому. Обоим говорил, что ожидает от отца всего наихудшего, и просил обоих своих приятелей, чтобы при разговоре с отцом уговаривали батюшку отпустить его на житье в деревню — по конец живота, безвыездно. Апраксин обещал: «Если отец станет со мной говорить, я приговаривать готов!» Князь Василий тоже согласился и при этом подмигнул: «Давай еще писем хоть тысячу, — когда-то еще что будет! Старая пословица: улита едет, коли-то будет...» Дома Вяземский и Кикин всячески поддерживали решение царевича отказаться от престола. «Тебя в покое оставят, как ты от всего откажешься, — успокаивал Алексея “дедушка”. — Только бы сделали так, отпустили бы в деревню, а то как бы хуже чего не вышло. Говорил я тебе, надо было оставаться за границей, и напрасно ты не отъехал, ну, да уж того взять теперь негде».

Три дня колебался Алексей и наконец ответил царю — тоже письменно:

«Милостивый государь-батюшка!

Сего октября в 27-й день 1715 года, по погребении жены моей, отданное мне от тебя, государя, вычел; на что иного донести не имею, только буде изволишь, за мою непотребность, меня наследия лишит короны Российской, буде по воле вашей. О чем и я вас, государя, всенижайше прошу: понеже вижу себя к сему делу неудобна и непотребна, также памяти весьма лишен (без чего невозможно ничего делать), и всеми силами умными и телесными (от различных болезней) ослабел и непотребен стал к толикого народа правлению, где требуется человека не такого гнилого, как я. Того ради наследия (хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава Богу, брат у меня есть, которому дай, Боже, здоровья) не претендую и впредь претендовать не буду, в чем Бога свидетеля полагаю на душу мою, и, ради истинного свидетельства, сие пишу своею рукою. Детей моих вручаю в волю вашу, себе же прошу до смерти пропитания. Сие все предав в ваше рассуждение и волю милостивую, всенижайший раб и сын Алексей».

Смирненное письмо сына только разъярило царя. Не такой покорности ждал он, не таких слов! Такое покорство хуже бунта!



Да как он смел так легкомысленно бросаться престолом, отказываться и впредь от всякой работы на пользу государству! Друзья Алексея бросились унимать гнев царя. Петр в ярости грозил самыми крутыми мерами. Князь Василий Долгорукий, после разговора с царем, хвастался перед Алексеем: «Я тебя с плахи снял. Теперь ты радуйся, дела тебе ни до чего не будет».

Ошибался князь Василий — Петр вовсе не успокоился. Царя не трогало и не заботило то, что сын пьянствовал, что он взял себе в наложницы чухонскую девку. Кто Богу не грешен? Служил бы царю верно, а царь не духовник — на иной грешок глаза и закроет. Но как смириться с тем, что родной сын отлынивает от всего, что он, его отец, считает первейшим долгом государевым! И потом: кончится ли противостояние между ними с отречением царевича от престола? Может ли после этого царь спать спокойно, надежно ли защищено его дело от посмертных посягательств?

Целый месяц Петр ничего не отвечал сыну. А в декабре дело едва не решилось само собой. После одной пирушки у Апраксина царь так разболелся, что приобщился Святых Тайн. Три недели хворал Петр, находясь между жизнью и смертью, а царевич лишь однажды посетил отца. Не верил Алексей в батюшкину болезнь. Кикин шептал ему: «Отец твой не болен тяжко. Он исповедывается и причащается нарочно, являя людям, что гораздо болен, а все притворство...» Алексей верил этому. Вот и король французский Хлодвиг так же слег в постель, чтобы выявить тех, кто желал ему наследовать, а потом — всем головы с плеч...

К Рождеству Петр оправился и, по обыкновению, возглавил компанию славильщиков. А 19 января Алексей получил новый testament: «Последнее написание еще».

«Понеже за своею болезнию доселе не мог резолюцию дать, — писал Петр, — ныне же на оную отвечаю: письмо твое на первое письмо мое я вычел, в котором только о наследстве воспоминаешь и кладешь на волю мою то, что всегда и без того у меня. А для чего того не изъявил ответу, как в моем письме? Ибо там о вольной негодности и неохоте к делу написано много более, нежели о слабости телесной, которую ты только одну воспоминаешь. Также, что я за то столько лет недоволен тобою, то все тут пренебрежено и не упомянуто, хотя и жестоко написано. Того ради рассуждаю, что не зело смотришь на отцово прощение, что подвигло меня сие остатнее писать: ибо когда ныне



не боишься, то как по мне завет станешь хранить? Что же приносишь клятву, тому верить невозможно для вышеописанного жестокосердия. К тому ж и Давидово слово: всяк человек ложь. Також хотя б и истинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить большие бороды, которые, ради тунеядства своего, ныне не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен зело. К тому же чем воздаешь рождение отцу своему? Помогаете ли в таких моих несносных печалях и недугах, достигши такого совершенного возраста? Ей, николи! Что всем известно есть, что паче ненавидишь дел моих, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю, и, конечно, по мне, разорителем оных будешь. Того ради так остаться, как желаешь быть, ни рыбою ни мясом, невозможно; но или отмени свой нрав и нелिцемерно удостой себя наследником, или будь монах: ибо без сего дух мой спокоен быть не может, а особливо, что ныне мало здоров стал. На что, по получении сего, дай немедленно ответ, или на письме, или самому на словах мне резолюцию. А буде того не учинишь, то я с тобой, как с злодеем, поступлю».

Письмо отца как громом поразило Алексея. Что же это: или стань тем, кем не мог стать все двадцать пять лет, или иди в монахи! А Евфросинья? А тихое семейное житье в деревне? Да чего же хочет от него этот изверг, зачем изобретает все новые мучения? Опять начались совещания с друзьями: что делать? Все советовали покориться воле отца. Кикин успокаивал: «Ведь монашеский клобук не гвоздем к голове прибит, можно и снять». Чтобы избежать прямого разговора с отцом, Алексей притворно слег в постель.

На следующий день Петр получил от сына записочку: «Милостивый государь-батюшка! Письмо ваше, писанное в 19-й день сего месяца, я получил того ж дня поутру, на которое больше писать за болезнию своею не могу. Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения. Раб ваш и непотребный сын Алексей».

Тут уже опешил Петр. Покорность сына снова показалась ему подозрительной. Что-то тут не так. Но обдумать дело как следует уже не было времени — царь готовился к отъезду за границу. Зайдя к сыну попрощаться, Петр нашел его лежащим в постели. Алексей натягивал одеяло на подбородок и трясся, будто от озноба. Петр переспросил: значит, в монахи? Царевич кивнул. Царь устало вздохнул — и еще раз отступился от сына.



Пусть одумается, не спеша, а потом напишет ему, что хочет делать. А коли хочет отцовского совета — так лучше бы взяться за прямую дорогу, нежели идти в чернецы. «Подожду еще полгода», — заключил Петр.

Как только отец ушел, Алексей отшвырнул одеяло, вскочил и закружился по комнате. Свободен! Камень с души свалился. Еще полгода можно ни о чем не думать! Он по-прежнему наследник!

Полгода казались ему вечностью. Заглядывать за эту вечность не хотелось. Все может случиться. Ведь батюшка сам говорит, что слаб здоровьем...

Петр ехал за границу для того, чтобы договориться со своими союзниками, главным образом с Данией, о дальнейших совместных действиях против Швеции. Необходимость заручиться поддержкой союзников была вызвана тем, что Карл после пятнадцатилетнего отсутствия, наконец, вернулся в свое королевство. Сделал он это в своей обычной манере, то есть предварительно обставив свое возвращение всеми мыслимыми трудностями, которые затем с присущим ему блеском преодолел.

После бендерского калабалька король продолжал оставаться в Турции, в замке Демирташ, откуда с маниакальной настойчивостью пытался убедить султана в четвертый раз объявить войну царю. Опасаясь насильственного выдворения, Карл сказался больным и пролежал в кровати полтора года. За это время ему удалось добиться смещения еще трех великих визирей. Но это были его последние победы. Должность великого визиря сделалась настолько хлопотной и опасной, что больше никто не хотел ее занимать. И тогда селяхдар Али-паша скромно попросил ее для себя. Умный оруженосец султана наконец понял характер Карла. Он передал королю, что тот может оставаться в Демирташе хоть всю жизнь. И действительно, после этих слов Карл немедленно пожелал покинуть Турцию.

Сразу же встал вопрос, как это сделать. Но оказалось, что королю не нужен конвой — ни турецкий, ни какой-либо еще. Карл объявил, что поедет на родину один, инкогнито. Поскольку привычки шведского короля были широко известны, один человек из его свиты советовал Карлу для маскировки надеть парик, останавливаться по пути в самых дорогих гостиницах,



шумно пить, заигрывать с каждой встречной девицей и спать до полудня. Так далеко король заходить не пожелал. Он отрастил усы, надел темный парик, коричневый камзол и обзавелся паспортом на имя капитана Петера Фриска. В Демирташе на всякий случай Карл оставил драбанта, переодетого в королевское платье.

Карлу понадобилось всего три недели, чтобы покрыть почти полторы тысячи миль, отделявшие его от шведских владений в Германии. 21 ноября 1714 года он постучался в ворота Штральзунда. Городу угрожала союзная датско-прусско-саксонская армия, и, само собой разумеется, Карл разделил с гарнизоном все опасности осады, длившейся более полугода — с апреля по декабрь. Он покинул Штральзунд за сутки до его падения, совершив почти невероятный бросок на лодке к морю, по замершему каналу, — прокладывая с помощью спутников дорогу ломами и топорами под артиллерийским огнем осаждавших. На берегу моря король пересел на поджидавшую его бригантину и в ненастную декабрьскую ночь сошел на берег Швеции.

Король желал возвратиться в Стокгольм не иначе как победителем, поэтому поселился не в столице, а в Лунде. Здесь он вел длительные дискуссии с профессорами математики и теологии Лундского университета, проектировал дворцы, придумывал новые флаги и армейскую форму (причем использовал зеленый цвет, — быть может, не без влияния русской военной моды). Все находили, что король невероятно изменился — из упрямого, запальчивого юнца Карл превратился в мягкого, спокойного человека, в свои тридцать четыре года научившегося терпимо относиться к человеческим слабостям и недостаткам.

Одно оставалось в нем неизменным — сердце викинга. На все предложения о мире Карл заявлял, что подпишет его только после окончательного поражения всех своих врагов.

Петр ехал на Запад медленно, с продолжительными остановками. Его терзали бесконечные приступы лихорадки, на несколько недель укладывавшие его в постель. Екатерина лично следила за здоровьем мужа; кроме нее, рядом с царем находились его старые сотрудники — Головкин, Шафиров, Толстой — и быстро поднимавшиеся в гору молодые Остерман



и Ягужинский. Доктора советовали Петру пройти курс лечения в Пирмонте, где вода была значительно мягче карлсбадской. Так к основной цели поездки — встрече с союзниками — прибавилась еще одна — лечение. Помимо этого, Петр собирался приглядеть за свадьбой своей племянницы Екатерины, дочери покойного сводного брата, царя Ивана. Вслед за другой царской племянницей — Анной — Екатерина тоже выходила замуж за иностранца — Карла Леопольда герцога Мекленбургского. Этот «деспотичный грубиян и один из самых отъявленных мелких тиранов», как его характеризовали современники, нуждался в сильном покровителе, чтобы сохранить свои скромные владения, затерявшиеся между Померанией, Бранденбургом и Голштинией. Петр же этим браком надеялся получить право вмешиваться в германские дела.



Петр I. 1716–1717 годы



В Данциг, где должна была состояться свадьба, царь приехал в воскресенье, 18 февраля 1716 года, и сразу же отправился на службу в лютеранскую церковь. Во время проповеди, почувствовав сквозняк, Петр, ни слова не говоря, протянул руку, снял парик с головы стоявшего рядом бургомистра и нахлобучил себе на голову. После службы он с благодарностью вернул парик владельцу. Царская свита пояснила изумленному бургомистру, что дома Петр редко носит парик и при холоде обычно заимствует его у первого попавшегося под руку.

Обсуждение условий брачного договора заняло больше двух недель. 8 апреля свадьба состоялась. Жених явился в парадной форме и при шпаге, но без манжет, которые в спешке забыл надеть. Свадебный кортеж проследовал по улицам города к маленькой православной часовне, выстроенной специально для этого случая. Обряд венчания совершал русский епископ. Все это время — около двух часов — Петр расхаживал между гостями, подсказывая забывшим слова Псалтири и громко подтягивая певчим. На обратном пути из часовни толпа, наконец, заметила несуразность герцогского костюма и, не дожидаясь, пока об истине возвестит ребенок, как это произошло в известной сказке Андерсена, радостно завопила: «Смотрите-ка! Герцог-то без манжет!»

Вечером был пир и фейерверк. Петр сам пускал ракеты. Жених так увлекся огненной потехой, что в час ночи первый министр Эйхгольц должен был напомнить ему, что невеста уже три часа как отправилась в постель.

На другой день довольные и счастливые новобрачные обедали у Петра. Хорошее настроение обоим государям испортили их приближенные, устроившие перебранку по поводу свадебных подарков. Дело в том, что придворные герцога поднесли русским подарки, в ответ же не получили ничего — «ни единой гнутой булавки». Мало того, русские вельможи сочли себя оскорбленными и, подобно Толстому, привыкшему в Стамбуле к сказочным камням, громко выражали неудовольствие кольцами, пряжками и прочими драгоценными безделками.

Отлучившись на три недели в Пирмонт, Петр в мае вернулся к молодым супругам. Погода стояла самая благодатная, и герцог устраивал обеды на открытом воздухе, в саду, откуда открывался прекрасный вид на озеро. Петру нравилось сидеть за столом под цветущими деревьями, но его смешило, что вокруг стола стояли



лейб-гвардейцы герцога, обладатели длинейших усов. Царь просил хозяина отослать их, но Карл Леопольд упрямо мотал головой: никак нельзя, солдаты нужны для торжественности обстановки. Однажды Петр нашел для гвардейцев лучшее применение, чем дурацкое стояние навтыжку, попросив герцога приказать им положить обнаженные шпаги на землю и своими усами разогнать комаров, которые тучами вились над столом.

Тем временем, по приглашению царя, датский король Фредерик IV приехал в Гамбург. Царь поспешил на встречу с союзником. На переговорах Петр пытался добиться от Фредерика согласия на совместное вторжение в Швецию — с юга и востока. Король уклонялся от прямого ответа и, чтобы заставить царя на время забыть о десанте, пригласил его посетить Копенгаген. 6 июля Петр появился на улицах датской столицы. Толпы любопытных приветствовали царя, одетого в коричневый сюртук с розовыми пуговицами, узкие коричневые штаны, заштопанные шерстяные чулки и очень грязные башмаки; черный солдатский галстук на его шее был застегнут крупной серебряной запонкой с поддельным бриллиантом — как у какого-нибудь майора. Крепостные орудия встретили почетного гостя оглушительным салютом. «Я вчера в такой церемонии был, — писал Петр жене, которая осталась в Ростове, — в какой более двадцати лет не бывал».

Но торжества шли, а дело не двигалось. В начале августа Петр сердито оповещал Екатерину: «Болтаемся тут». В ожидании решительного слова Фредерика царь посещал городские достопримечательности. В королевском естественно-историческом музее он облюбовал мумию и захотел ее купить. Инспектор музея доложил об этом желании царя Фредерику. Последовал вежливый отказ, по той причине, что «мумия отличается особенной красотой и величиной, второй подобной нет в Европе». Когда при следующем посещении музея Петр ознакомился с королевской резолюцией, то пришел в совершенную ярость. На глазах у потрясенного инспектора он в неистовстве кинжалом изуродовал мумию, отрезал ей нос и выбежал, приговаривая: «Пусть теперь она у вас остается!»

Прибытие английской эскадры адмирала Норриса подало Петру надежды на успешное окончание переговоров с датчанами. В копенгагенском порту скопился огромный союзный



англо-датско-голландско-русский флот. Норрис, голландский шаутбенахт, датский адмирал Гильденлеве и русский вице-адмирал Петр Алексеев обменивались визитами на флагманах, с которых то и дело раздавались залпы корабельной артиллерии, приветствовавшие гостей. Царь осыпал союзников алмазами и соболями. Затем Норрис предложил совершить совместную морскую прогулку — демонстрацию военной мощи. Уставший от безделья, Петр охотно согласился. Поскольку ни Норрис, ни Гильденлеве не желали уступить друг другу первенство, командование объединенной эскадрой было вручено царю. 16 августа Петр поднял флаг на 64-пушечном «Ингерманланде». Никогда Балтика не видала такого великолепного и такого странного зрелища — 69 военных кораблей, среди которых на 21-м развевался андреевский стяг, на полных парусах курсировали вдоль шведского берега, и возглавлял эту армаду моряк-самоучка из страны, еще двадцать лет назад не обладавшей ни одним военным кораблем.

Командование четырьмя флотами оставило у Петра приятные воспоминания, но лишь в одном отношении: «Такой чести повелевать флотами чужестранных народов и своим вместе едва ли кто на свете удостоивался. Я с удовольствием вспоминаю доверенность тех держав». Но ему больно было наблюдать, как вся союзная армада из всех сил уклоняется от сражения с двадцатью кораблями шведской эскадры. Много холостых залпов было выпущено во время приветствий и салютов друг другу, но по неприятелю — ни одного. Петр раздраженно писал Апраксину: «Бог ведает, какое мучение с ними! Сущее надобное время пропускают и будто чужое дело делают».

Прошел сентябрь, благоприятное время для высадки десанта было упущено. Пришлось отложить вторжение в Швецию до весны. Чтобы утешить царя, Норрис в день, когда Петр отмечал викторию при Лесной, салютовал победителю всеми орудиями английской эскадры.

В октябре русские полки ушли зимовать в Польшу, флот возвратился на зимние стоянки в Ригу, Ревель и Кронштадт. Петр простился с датским королем и покинул Копенгаген, выехав в Хафельсберг на встречу с Фридрихом Вильгельмом.

Прусский король был чрезвычайно раздражительным человеком. Подобно своему русскому собрату, он часто пускал



в ход дубинку и порой калечил избиваемого — ломал ноги или выбивал зубы. Почти постоянное дурное настроение короля объяснялось его необычной болезнью, унаследованной от предков. Порфирия — так называлось его заболевание — была вызвана нарушением обмена веществ, из-за чего Фридрих Вильгельм мучили беспрестанные мигрени, подагра, фурункулез, геморрой и страшные кишечные колики, доводившие его до помутнения рассудка. По той же причине уже в молодости он растолстел, а его кожа приобрела оттенок и блеск полированной кости.

Единственную подлинную радость в жизнь короля привносила его гвардия — «потсдамские великаны». Фридрих Вильгельм был без ума от рослых солдат и не жалел никаких средств на их приобретение. Его «синие пруссаки» — шестифутовые молодцы в синих мундирах, и «красные пруссаки» — семифутовые в красных, получали жалованье, превышавшее оклад профессора Берлинской академии наук. Правда, пытаясь сэкономить, король пробовал «разводить» великанов, женив специально подобранные высокорослые пары, но в конце концов признал этот способ непрактичным: ожидание результата затягивалось лет на пятнадцать, и в большинстве случаев великаны производили обыкновенных людей, а то и вовсе недомерков. Когда на короля находили приступы болезни, «потсдамские великаны» с развернутыми знаменами проходили через его покои, гремя медными тарелками и стуча в барабаны, — это приносило больному большое облегчение.

Фридрих Вильгельм мечтал пожить за счет Ганновера, поэтому встреча с царем прошла как нельзя лучше. «Я буду решительно поддерживать моего брата Петра», — заверял король. Сближению обоих государей способствовало и сходство их привычек и вкусов. Оба были драчуны, оба скряги, оба предпочитали простые и зачастую грубые развлечения. Вечером Фридрих Вильгельм приглашал Петра на кружку пива и трубку в компании министров и генералов. Во время этих посиделок они развлекались тем, что изводили придворного историка, безобидного педанта, которого однажды умудрились даже поджечь. Расстались хозяин и гость лучшими друзьями. Петр пообещал прислать в Берлин русских великанов для пополнения рядов королевской гвардии, а Фридрих Вильгельм подарил царю роскошную яхту и бесценную Янтарную комнату.



Полгода, отведенные Петром сыну, пролетели для Алексея незаметно и в общем-то спокойно. Кикин, отправляясь вслед за царем в Карлсбад, обнадежил Алексея: «Я тебе место какое-нибудь сыщу, где бы спрятаться». В переписке между собой оба — и отец и сын — осведомлялись о здоровье друг друга и касались только повседневных вопросов. Наконец в начале октября пришло письмо, которого Алексей со страхом ждал, — оно было помечено 26 августа, из Копенгагена. Петр требовал окончательного ответа: престол или монастырь. В случае, если царевич одумался, он звал его приехать к нему за границу, если нет — приказывал назначить день пострижения. О последнем, писал царь, «паки подтверждаем, чтобы, конечно, учинено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своем неплотдии».

Держа в руках это письмо, царевич решился. Бежать, бежать за границу и там скрыться от клобука, а может быть, и от чего-нибудь похуже! Он отправился в Сенат, проститься с друзьями. Объявил, что едет к отцу, а князю Якову Долгорукому шепнул: «Пожалуй, меня не оставь». Князь ему в ответ: «Служить тебе всегда рад, только больше не говори — другие смотрят».

С собой Алексей взял Евфросинью, брата ее Ивана Федорова и трех слуг. В дорогу занял у Меншикова тысячу рублей, Сенат дал две тысячи, да в Риге еще купцы одолжили пять тысяч червонных золотых и две тысячи рублей мелкой монетой.

В начале октября, на подъезде к Либаве, Алексей повстречал карету тетки, царевны Марии Алексеевны, которая возвращалась из Карлсбада. Царевич подсел к ней.

- Куда едешь? — спросила тетка.
- Еду к батюшке.
- Хорошо, надобно отцу угождать: то и Богу приятно.
- Я уж не знаю, буду ль угоден или нет, уже я сам себя чуть знаю от горести. Я бы рад куда скрыться.

С этими словами царевич залился слезами.

Мария Алексеевна вздохнула и скорбно заметила: «Куда тебе от отца уйтить? Везде тебя найдут». Потом спросила, почему он не пишет матери.

- Я писать опасуюсь, — всхлипнул царевич.



— А что, хотя б тебе и пострадать? — твердо возразила тетка. — Так ничего: ведь за мать, не за кого иного.

— Что в том прибыли, что мне беда будет, а ей пользы никакой? — оправдывался Алексей. Потом спохватился: — Жива ль она?

— Жива, — ответила Мария Алексеевна. — Бог откровение послал ей самой и другим, что отец твой возьмет ее к себе: будет он болен и поедет в Троицкий монастырь на Сергиеву память. Мать твоя будет тут же. Он исцелится от болезни и возьмет ее к себе. А Питербурх не устоит перед нами: быть ему пусту. Многие говорят о том.

На прощание она посоветовала племяннику терпеть — Господь Бог в конце концов всех рассудит.

Но терпения у Алексея уже не осталось. В Либаве он встретился с Кикиным и спросил, нашел ли он ему место какое.

— Нашел, — отвечал Кикин. — Поезжай в Вену, к цесарю, там тебя не выдадут. Цесарь примет тебя как сына, вероятно, и денег даст.

В конце разговора он постарался вдолбить царевичу в голову главное: «Если отец к тебе пришлет кого-нибудь уговаривать тебя вернуться, то не езд: он тебе голову отсечет принародно. Не надейся и на то, что пострижет: в иночестве ты будешь жить спокойно и долго проживешь, а он тебя начнет теперь всегда держать при себе неотступно и всюду будет с собою возить, чтоб ты от волокиты умер, ты труда не понесешь. Кроме побегу, спастись теперь тебе ничем иным нельзя».

И вот, проехав Данциг, царевич исчез. А спустя несколько дней, вечером 10 ноября, в Вену въехал русский офицер Кохановский с мальчиком-пажом и тремя слугами.

Вице-канцлер граф Шёнборн уж готовился отойти ко сну, когда к нему вошел камердинер с сообщением, что какой-то человек в приемной желает незамедлительно видеть его. Шёнборн, зевнув, велел передать посетителю, чтобы он пришел завтра в семь утра. Камердинер ушел, но скоро вернулся с растерянным лицом. Докучливый посетитель ни за что не желает уходить и уверяет, что наследник русского престола царевич Алексей находится у подъезда дома вице-канцлера и требует незамедлительного свидания. Пораженный, Шёнборн стал поспешно одеваться, но Алексей не дал ему времени закончить туалет. Ворвавшись в спальню вице-канцлера, бледный, с тря-



сущимися руками, он с первых слов воззвал о помощи. Цесарь должен спасти ему жизнь, так как отец, мачеха и Меншиков хотят лишить его престола, заточить в монастырь, а может быть, даже убить!

— Я ни в чем не виноват, — срывающимся голосом говорил царевич, — ни в чем не прогневил отца, не делал ему зла. Если я слабый человек, то Меншиков меня так воспитал, пьянством расстроили мое здоровье. Теперь отец говорит, что я не гожусь ни к войне, ни к управлению, но у меня довольно ума, чтобы царствовать. Один Бог волен раздавать короны и лишать наследства, а я не хочу идти в монастырь.

Произнося эти слова, он метался по комнате и с ужасом озибался по сторонам. Наконец в полном изнеможении он упал на стул и завопил:

— Ведите меня к императору!

Внезапно оборвав крик, Алексей потребовал пива, но так как у Шёнборна этого напитка не оказалось, единым духом осушил стакан мозельвейну.

Шёнборн с трудом успокоил его. После долгих увещаний ему удалось убедить Алексея, что не стоит ночью будить императора и что вообще царевичу лучше возвратиться к себе в гостиницу и, сохраняя инкогнито, ждать решения его императорского величества. Алексей залился горькими слезами, пробормотал благодарность и вышел.

На другой день Карл VI созвал тайную конференцию, чтобы обсудить дело царевича. Прибытие такого беглеца ставило императора в щекотливое положение. Ссориться с царем ему не хотелось, выдать сына отцу на расправу не позволяли соображения престижа. Карл выбрал компромиссное решение. Алексею сообщили, что император просит его сохранять инкогнито; что же касается протекции, то царевич волен оставаться на территории Священной Римской империи до окончания его ссоры с отцом.

Два дня спустя Алексея с Евфросиньей, все еще переодетой в мужское платье, и слугами с соблюдением полной тайны перевезли в долину реки Лех и поселили в замке Эренберг. Коменданту генералу Росту не сообщили имени полугостя-полуузника и велели принять чрезвычайные меры предосторожности: не отпускать солдат гарнизона в увольнение и арестовывать всякого, кто попытается проникнуть



в замок. Среди гарнизона распространился слух, что приезжий — какой-нибудь знатный поляк или венгр.

Алексей наконец-то вздохнул с облегчением. Рядом с ним была Евфросинья, в замке находилась богатая библиотека — не о такой ли жизни он мечтал? Не хватало только православного священника, но граф Шёнборн категорически отказывался прислать его, чтобы не нарушить инкогнито царевича.

Пять счастливых месяцев прожил Алексей в Эренберге, отрезанный от всего мира. Вечерами он покидал шумную, окутанную табачным дымом гостиную, поднимался в свой кабинет, брал с полки увесистый том, с удовольствием устраивался у камина, тщательно набивал длинную трубку, раскуривал и привычным движением отстегивал застёжку с переплета... Мирно, незаметно текли часы; потом появлялась Евфросинья, поила его липовым отваром и вела в теплую, нагретую грелкой постель... Изредка он получал весточки от Шёнборна. В одной из них вице-канцлер сообщал о слухах, вызванных исчезновением царевича: «Начинают поговаривать, что царевич погиб. Одни считают, что он бежал от жестокосердия отца, другие полагают, что его умертвили по отцовскому приказу. Третьи говорят, что его по дороге убили грабители. Никто точно не знает, где он находится. Прилагаю как курьез то, что пишут из Санкт-Петербурга. Царевичу рекомендуется в собственных его интересах хорошенько укрыться, потому что, как только царь вернется из-за границы, начнутся усиленные розыски». Писал Шёнборн и о том, что гвардия в Санкт-Петербурге якобы составила заговор с целью убить Петра, а Екатерину постричь в монастырь, что в России все готово к бунту: множество знатных людей ни о чем не говорят, как только о презрении к ним царя, который отдаёт их детей в матросы, о разорении их имений налогами и выводом мужиков на крепостное и корабельное строение...

Алексей читал эти записки и радовался. Бог даст, все образуется, а ему пока и здесь неплохо: есть у него все, что любезно сердцу, — Евфросинья, книги да молитва.

Петр не сразу хватился сына. Не дождавшись приезда Алексея осенью 1716 года, он решил, что царевича задержала распутица — обычное дело. Между тем приближалась зима, в воздухе



чувствовалось дыхание стужи, глубокие колеи на дорогах сковал мороз. Екатерине, снова беременной, трудно было ехать в Петербург, и Петр решил не возвращаться в Россию, а перезимовать в Амстердаме — городе, который он не видел уже восемнадцать лет.

Предоставив жене двигаться не спеша, Петр с обычной скоростью покатыл через Гамбург, Бремен и Утрехт в Голландию. 6 декабря он был уже в Амстердаме.

Зимняя дорога дала себя знать — царь свалился в лихорадке. 2 января 1717 года, все еще лежа в постели, он получил от Екатерины известие о рождении сына, которого они заранее договорились назвать Павлом. Петр откликнулся радостным письмом, но уже на следующий день другое известие вдребезги разбило его отцовское счастье — младенец умер. На письмо Екатерины, полное отчаяния, он ответил: «Я получил твое письмо о том, что уже знал, о неожиданной случайности, переменившей радость на горе. Какой ответ могу я дать, кроме ответа многострадального Иова? Бог дал, Бог и взял, да будет благословенно имя Божие».

Горестные переживания усилили его лихорадку и еще на целый месяц приковали Петра к постели. В таком состоянии и нашла его Екатерина, наконец добравшаяся в феврале до Амстердама. Болезнь помешала Петру встретиться с английским королем Георгом I, который был в городе проездом из Англии в Ганновер.

К весне царь стал поправляться. Вдвоем с Екатериной они совершали прогулки по Амстердаму — Петр хотел показать жене те места, где он бывал в молодости: верфи, мануфактуры, мельницы. Не удержался он и от осмотра каморки, где жил во время работы на верфи Ост-Индской компании. Здесь его ждал приятный сюрприз. Едва он переступил порог, как услышал:

— Добро пожаловать, мастер Питер!

Какая-то женщина, улыбаясь, смотрела на него из глубины комнатки.

— Откуда ты меня знаешь? — удивился царь.

— Я жена мастера Поля, и вы часто обедали в нашем доме.

Петр обнял седую вдову того самого Геррита Клааса Поля, который в 1697 году выдал ему памятный плотницкий аттестат.

Не одним воспоминаниям предавался Петр в Амстердаме. Он в полной мере сохранил живую любознательность, юношеский интерес к чудо-городу, по-прежнему не желал упустить ничего достойного внимания. Однажды он перелез через хлев, чтобы получше осмотреть крахмальный завод, находившийся



за ним, отведал кислую воду, в которой мочат пшеницу для изготовления крахмала, и съел горсть готового продукта. В эту поездку вкусы его даже расширились, в поле его зрения оказалось изящное искусство — Петр закупил у голландских живописцев множество картин, в основном на морские сюжеты. Ничего не имел царь на этот раз и против толпы зевак, которые всюду его сопровождали.

Впрочем, в разговорах с плотниками и матросами царь уже не смотрел им в рот с восторгом новичка, а демонстрировал зрелую сдержанность бывалого моряка и опытного флотоводца. Однако, если замечал в собеседниках стеснение, тут же предлагал: «Давайте говорить по-нашему, по-плотнишки».

В Амстердаме Петр узнал, что Франция готова выступить посредницей между Россией и Швецией в мирных переговорах. Царь решил ехать в Париж.

Разъезжая по Европе, Петр еще ни разу не посетил прославленной столицы Людовика XIV. В глазах царя Франция не представляла для России никакой ценности — ни политической, ни военной, ни промышленной. «Русскому нужен голландец на море, немец на суше, а француз ему совсем ни к чему», — говорил Петр. Да и в представлении всехристианнейшего короля-солнца, до самой его смерти, Московия продолжала оставаться дикой страной: имя победителя Карла XII даже не значилось в списке европейских государей, ежегодно печатавшемся в Париже. Правда, после Полтавы кое-что в отношениях двух стран стало меняться. Петр выписал для благоустройства своего парадиза знаменитых французских архитекторов — Растрелли, Лежандра, Леблона, Каравака; барон де Сент-Илер заведовал невскими верфями, граф де Лоне значился среди камер-юнкеров царя, а его супруга состояла статс-дамой при молодых царевнах, дочерях Петра и Екатерины. В Петербурге, на Васильевском острове, была основана французская церковь, и ее настоятель отец Калю принял звание «духовника французского народа», проживающего в северной столице. В свою очередь в портовых городах Франции появились русские навигаторы.

И вот теперь сам русский царь ехал в центр европейской цивилизации и культуры, слава о котором гремела по всему свету.



Людовик XIV умер 1 сентября 1715 года, в возрасте семидесяти шести лет. Таким образом, на протяжении тридцати трех лет он и Петр были товарищами по *délicieux métier de Roy*⁵³. Но если слава и мощь России за это время постоянно росли и крепили, то сияние короля-солнца неудержимо меркло. Последние годы его жизни были омрачены военными катастрофами и всеобщим разорением Франции.

К бедствиям государства присоединилась семейная трагедия. В 1711 году внезапно умер дофин. Его сын, герцог Бургундский, объявленный дофином, скончался в следующем году — оспа унесла его за неделю. А спустя несколько дней сын герцога Бургундского последовал за отцом.

У Людовика XIV остался последний отпрыск по прямой линии — другой правнук, Луи. Он тоже переболел оспой, но поразительным образом выздоровел, — быть может, потому, что его нянька заперла двери его комнаты и не пустила к нему врачей с их кровопусканиями и рвотными. В момент смерти Людовика XIV его правнуку, будущему Людовику XV, было пять лет.

Регентом королевства был провозглашен племянник Людовика XIV — Филипп герцог Орлеанский. Это был сорокадвухлетний приземистый здоровяк и отчаянный бабник. Он готов был любить всех женщин без изъятия — худых и полных, высоких и низких, красивых и дурнушек, розовощеких крестьянок и томных принцесс. Его мать говорила: «Он до женщин сам не свой. Ему дела нет, каковы они собой, лишь были бы веселы, не скромничали, любили поесть и выпить». На ее упреки во всеядной чувственности регент пожимал плечами: «Ах, матушка, ночью все кошки серы».

С началом его правления по Франции распространилась эпидемия чувственности и сладострастия. Двор мгновенно перебрался из чопорного Версаля в веселый и легкомысленный Тюильри. Ходили слухи об оргиях у регента, во время которых все приглашенные сидели за столом обнаженными. У себя дома герцог Орлеанский был так непристоен, что его жена не смела пригласить гостей на семейные обеды. При всем этом регент и не думал надевать на себя хотя бы личину благопристойности, открыто демонстрируя свое презрение к морали и равнодушие к религии. Однажды, соскучившись во время мессы, он открыл книгу Рабле и стал вслух читать ее, захлебываясь от хохота.

⁵³ Восхитительному ремеслу монарха (*фр.*).



Подражателей у регента нашлось предостаточно. Во Франции и в Европе наступала эпоха Ловеласов, Грандисонов и Казанов.

На малолетнего короля — обворожительного мальчика с длинными белокурыми волосами, пушистыми ресницами и длинным носом Бурбонов — народ смотрел как на свою надежду. Не дай бог, если он умрет и королем станет регент! Но здесь французы обманывались: в ожидании лучшего, они не обращали внимания на хорошее. Восьмилетнее правление герцога Орлеанского стало если не самым счастливым, то самым спокойным временем в истории Франции. В отличие от Людовика XV, сухого, бессердечного эгоиста, регент был гуманным, сострадательным человеком, без капли зависти и тени честолюбия. Он не только покровительствовал наукам и искусствам, но и первым позволил ученым и поэтам сесть за один стол с собой. Безраздельно преданный малолетнему королю, он и в мыслях не имел посягнуть на его права. К своим государственным обязанностям он относился со всей серьезностью. В восемь часов утра, как бы ни была бурна предыдущая ночь, герцог Орлеанский неизменно садился за рабочий стол. Этот донжуан не терпел вмешательства женщин в политику и не позволял своим любовницам вершить государственные дела. Погремушки славы никогда не шумели у него в ушах. Хорошо понимая разорительность войн, он ни разу не потребовал от французских солдат покинуть казармы. Мир, мир и мир — к чему пачкать кровью белые лилии Бурбонов?

Опрокидывая устои морали, регент не щадил и традиций внешней политики. Он неожиданно сблизился с Англией — многовековым врагом Франции, а после поражения Карла XII, которого Людовик XIV использовал в качестве противовеса Австрии, регент начал поиски нового сильного союзника на Востоке. И вполне естественно, что взгляд его остановился на России. В свою очередь и Петр, наконец, уяснил себе, какой практический интерес для России может представлять Франция. Посредничество в мире со Швецией — за такую услугу царь был готов взять на себя любые обязательства. Стремясь как можно крепче привязать к себе неожиданного союзника, Петр предложил скрепить союз династическим браком: восьмилетняя Елизавета и семилетний Людовик — чем не пара! Однако сближение с Россией вызвало протест кардинала Дюбуа, в чьих руках находилась внешняя политика Франции. Он был сторонником крепкого англо-французского союза и понимал, что Англия никогда



не потерпит усиления русского могущества на Балтике. Отговаривая регента от чересчур тесного сближения с царем, Дюбуа твердил: «Царь страдает хроническими болезнями, а его сын никаких обязательств отца выполнять не станет». И регент не мог не чувствовать, что кардинал довольно трезво смотрит на вещи.

Петр надеялся уладить противоречия в личной встрече. Намерение царя посетить Париж привело регента в большое волнение: предстояли большие расходы. Но отказать монарху в гостеприимстве было невозможно. И вот в Кале отправилась большая депутация придворных во главе с господином де Либуа из ближайшего королевского окружения — встречать незваного гостя.

Петр пересек границу Франции в сопровождении свиты из шестидесяти человек. Екатерина осталась дожидаться мужа в Гааге.

С самых первых шагов царя по французской земле де Либуа понял, что угодить северным варварам не так-то просто. На содержание свиты царя было выделено 1 500 ливров в день — как и любому другому посольству. Однако князь Борис Куракин сразу восстал против этой суммы, показавшейся ему оскорбительной для царского величества, и своими притязаниями вверх де Либуа сначала в молчание, а потом в отчаяние, тем более что француз и так хватался за сердце, видя, как царский повар подает на стол Петру восемь блюд вместо полагавшихся по рациону трех. Де Либуа пытался внедрить экономию, но его требование «прекратить ужины» вызвало у русских негодование — они не привыкли ложиться спать голодными! К счастью, из Тюильри прислали дополнительные средства с указанием, что «не следует стесняться в расходах, лишь бы царь остался доволен». Но и после этого де Либуа приходилось нелегко. Утонченная французская гастрономия была не по вкусу луженому желудку Петра. Де Либуа докладывал регенту: «Царь встает рано утром, обедает около десяти часов, ужинает около семи и удаляется в свои комнаты раньше девяти. За ужином он ест мало, а иногда и вовсе не ужинает, но между обедом и ужином поглощает невероятное количество анисовой водки, пива, вина и всевозможной пищи: любит соусы с пряностями, пеклеванный и даже черствый хлеб, с удовольствием ест горошек, съедает много апельсинов, груш



и яблок. У него всегда под рукой два-три блюда, приготовленные его поваром. Он встает из-за роскошно сервированного стола, чтобы поест у себя в комнате; приказывает варить пиво своему человеку, находя отвратительным то, которое подают ему, жалуются на все... Это обжора, ворчун». Впрочем, де Либуа находил в характере царя «здатки доблести», но в «диком состоянии». Царские вельможи, по его словам, проявляли не меньшую требовательность: «Они любят все хорошее и знают в том толк». Другими словами, французский царедворец признавал, что эти москвиты не такие уж дикари.

Еще труднее было уладить вопрос о средствах передвижения. Царь непременно желал доехать до Парижа за четыре дня. Но это представлялось невозможным — нельзя было достать столько упряжек, а предоставленные экипажи исторгли у русских крики негодования. Князь Куракин заявлял, что еще не было видано, чтобы русский дворянин путешествовал в катафалке. Петр привередничал еще больше — он требовал не карету, а одноколку, на которой привык разъезжать в Петербурге. Такой повозки не оказалось ни в Дюнкерке, ни в Кале, а когда де Либуа, выбившись из сил, где-то раздобыл требуемый экипаж, царь вдруг переменил свое намерение. Он тронулся в путь в необычном экипаже, который сам для себя придумал. На носилки был поставлен кузов старого фаэтона, найденный на каретном дворе в Кале среди разного хлама, и все это сооружение было укреплено на каретных дрогах. Напрасно маркиз де Майи, приехавший с приветствием от регента, истощал свое красноречие, доказывая опасность путешествия в таком ненадежном (и видит бог, дурацком) экипаже, — Петр не хотел ничего слушать. «Люди обыкновенно руководствуются рассудком, — раздраженно писал в Тюильри маркиз, — но этот человек, если можно назвать человеком того, в ком нет ничего человеческого, вовсе не признает рассудка. — И добавлял: — Я желал бы от всего сердца, чтобы царь скорее прибыл в Париж и даже выехал уже оттуда».

Из Дюнкерка посольство приехало в Кале и здесь задержалось на несколько дней, чтобы отпраздновать православную Пасху. Под влиянием праздника царь сделался более обходительным с французами — посетил порт, произвел смотр гарнизону и флоту, осмотрел крепость, магазины и фабрики. Обаятельность царя, по мнению де Либуа, представляла серьезную опасность для чести госпожи президентши, на которую была воз-



ложена забота по приему гостей. Впрочем, француз тревожился напрасно, так как по случаю Пасхи Петр каждодневно бывал мертвецки пьян и заканчивал вечер в каком-нибудь из местных трактиров.

4 мая тронулись дальше. Петр возвышался в своем паланкине и с любопытством осматривал местность. Увидев за Кале множество ветряных мельниц, указал на них с улыбкой: «То-то бы для Дон-Кишотов было здесь работы!» Больше всего он был поражен нищетой простонародья — последствием разорительных войн короля-солнца — и делился своими впечатлениями с женой: «А сколько дорогою видели, бедность в людях подлых великая».

На другой день должны были проехать Амьен. Местный епископ сбился с ног, чтобы устроить царю торжественную встречу — с обедом, фейерверком, иллюминацией и концертом. Но когда все было готово, разнеслась весть, что царь потихоньку обогнул город и остановился в придорожном трактире, где истратил всего восемнадцать франков на ужин для себя и свиты из тридцати человек, причем, сев за стол, вытащил из кармана платок и постелил его вместо скатерти. На просьбы епископа почтить Амьен высочайшим присутствием и отобедать в его доме чем бог послал Петр отвечал, что он солдат и для него довольно сухаря и воды. Насчет последней царь кривил душой. В эти же дни он писал Екатерине: «Благодарствую за венгерское, которое здесь зело в диковинку, а крепкища (водки. — С. Ц.) только одна фляжка осталась, не знаю, как быть».

Еще Петр жаловался ей на бессилие и одолевавший его почечуй. Он чувствовал, что стареет, что нравиться женщине, почти наполовину его моложе, — дело трудное, и в качестве самозащиты трунил над своей фигурой и годами. А чтобы распотешить свою Катериனுшку, недужный «старик» Петр осыпал ее подарками, не столько ценными, сколько выражавшими его всегдашнюю заботу и внимание к ней: дарил ей попугаев, канареек, мартышек, слал то материю на платье, то кружева, то цветы, то карлу-француза. Екатерина благодарила и отдавалась клубникой, сельдью, рубашками, галстуками, не забывала о крепкише и венгерском и вздыхала в письмах по муженьку — вот если б он был при ней, она б ему нового «шишечку» сделала.

Вполдень 7 мая в Бомоне-на-Уазе Петравстретил маршал Тессе, присланный регентом. Для встречи царя и его свиты был подготовлен целый поезд королевских карет. Триста кавалеристов



в красных мундирах из личной охраны короля составили почетный эскорт. Приветствуя царя, Тессе тщательно подмел шляпой землю.

Петр разместился с Тессе на мягких, обитых штофом подушках одной из королевских карет. Как только закрыли дверцы и карета тронулась, маршал достал из-за широкого обшлага надушенный платок и поднес его к носу — причиной тому была любимая чесночно-луковая подлива царя.

В девять часов вечера кортеж подъехал к Лувру. Царю отвели покои в апартаментах королевы-матери. Специально к приезду почетного гостя во дворце освежили позолоту и штукатурку, стены увешали картинами знаменитых маринистов, в спальне приготовили кровать, некогда заказанную госпожой де Ментенон для короля-солнца, — «самую богатую и великолепную вещь на свете».

Петр вошел в залу, где для него и свиты был накрыт стол на шестьдесят персон, бросил вокруг рассеянный взгляд и объявил, что это помещение слишком роскошно и чересчур освещено. Затем, подойдя к столу, он отведал несколько сортов вина, выпил два стакана пива, закусил хлебом с редиской и направился к выходу. Его свита, оглядываясь и сглатывая слюну, последовала за ним.

Царя повезли в отель «Ледигьер». Здесь он также остался недоволен чрезмерной роскошью, но смирился с этим и только распорядился принести свою походную кровать, на которой и устроился в гардеробной.

Наутро приехал регент. Петр вышел в приемную, обнял его, потом повернулся спиной и направился в свои покои, предоставив гостю с князем Куракиным, который был за переводчика, следовать за ним. Свита герцога Орлеанского была оскорблена и фамильярным объятием, и шествием царя впереди регента: в поведении царя французы увидели «надменное высокомерие» и «отсутствие всякой любезности». Знали бы они, что Петр еще сдерживался и ради важности визита стремился строго соблюдать этикет, которому был столь привержен французский двор!

Царь и герцог сели в кресла друг напротив друга; беседа длилась около часа. Затем они вышли из кабинета — Петр снова шел впереди. В приемной царь отвесил регенту глубокий поклон (довольно неуклюжий, по мнению французов) и расстался с гостем на том же месте, где и встретил его.



*Встреча Петра I с Людовиком XV в Париже.
Гравюра неизвестного художника, 1718 год*

Следующие три дня Петр провел затворником. Ему страстно хотелось погулять по Парижу, но он заставил себя дожидаться официального визита короля. Впрочем, когда карета Людовика XV въехала во двор отеля «Ледигьер», Петр, увидав хорошенького белокурого мальчика, вмиг позабыл об этикете и в порыве нежных чувств подхватил царственного ребенка на руки, затормошил и зацеловал. Обмен приветствиями в приемной занял не более четверти часа, после чего царь на руках отнес терпеливого Луи в карету.



Екатерину Петр известил: «Объявляю вам, что в прошлый понедельник визитовал меня здешний каралище, который пальца на два больше Луки нашего (карлика. — С. Ц.), дитя зело изрядное образом и станом, по возрасту своему довольно разумен...»

На следующий день он тем же манером отдал визит королю — взяв вышедшего навстречу Луи на руки, поднялся с ним по ступеням лестницы в приемную.

С официальной частью пребывания Петра в Париже на этом было покончено, этикет соблюден. Наконец-то он свободен! И вот на улочках Парижа появился высокий человек в сером сюртуке из плотной материи и серой жилетке с бриллиантовыми пуговицами, без галстука, без манжет, без кружев у обшлагов рубашки; поверх сюртука была перекинута португеза, отделанная серебряным позументом, на поясе, по русскому обычаю, висел нож; темный — по испанской моде — парик был сзади обрезан.

Этот костюм сразу вошел в моду среди парижан под названием «одежда царя», или «костюм дикаря».

Париж с его полумиллионным населением был третьим по величине — после Лондона и Амстердама — городом Европы. Большие дворцы — Тюильрийский, Люксембургский — и дома вельмож большей частью располагались на тогдашней окраине Парижа, в местах довольно пустынных — за Монпарнасом уже простирались поля и пастбища. Подлинная жизнь города сосредоточивалась вокруг Сены. Пять мостов связывали северную и южную части Парижа с их путаницей узких улочек, четырех- или пятиэтажными домами с островерхими крышами и тремя площадями — Королевской, Вандомской и площадью Побед. Тесные проходы между домами были забиты людьми и экипажами. Грохот колес с железными ободами, крики возниц и прохожих с непривычки просто оглушали. Среди первых неприятных впечатлений были и нестерпимая вонь и грязь, поскольку мусор, человеческие испражнения и внутренности забитых животных вываливались из окон домов прямо на мостовую, которую каждый день устилали свежей соломой. Треть населения города составляли нищие, воры и проститутки. С наступлением ночи власть над Парижем полностью переходила в их руки; Буало писал, что самый темный и бесплодный лес может считаться по сравнению с Парижем безопасным местом. Но до полуночи кафе, трактиры, рестораны и театры были



полны посетителями, любители погулять расхаживали по Курля-Рен — длинной дорожке вдоль Сены, на илистых берегах которой женщины стирали белье, а также в Пале-Рояле, Люксембургском и Ботаническом садах на Елисейских Полях укрывались влюбленные.

Расширяя и благоустроявая Париж, Людовик XIV распорядился снести городские укрепления, возведенные еще во времена Столетней войны для защиты от англичан. К началу XVIII века только бастион Святого Антония с его восемью башнями продолжал возвышаться над северо-восточной частью города — это была знаменитая Бастилия. Однако фривольный дух регентства проник и за стены некогда грозной тюрьмы: здесь между узниками и узницами возникали страстные любовные романы, а верные дамы, подкупив охрану, смело посещали своих возлюбленных. Впрочем, теперь Бастилия в основном пустовала, лишь изредка в ней со вкусом устраивался на несколько недель какой-нибудь герцог, наказанный за дуэль, да рассерженные отцы семейств помещали сюда для исправления своих распутных сыновей, которые коротали время, играя на гитаре, сочиняя стихи, занимаясь атлетическими упражнениями в комендантском саду и выдумывая меню для друзей и любовниц. В дни, когда Петр гулял по Парижу, в Бастилии сидел всего один узник — двадцатитрехлетний Франсуа Мари Аруэ, который еще не присвоил себе аристократическую фамилию де Вольтер. Молодой человек, хорошо принятый в компании герцога Орлеанского, искупал здесь свой грешок — ему вздумалось позабавить парижан игривыми стишками по поводу добродетели регента и его дочери, герцогини Беррийской. Петр, конечно, не мог знать, что этот легкомысленный юнец сорок лет спустя напишет первое историческое исследование о нем — «Историю Российской империи при Петре Великом».

Петр предварительно составил перечень всего, что ему хотелось осмотреть в Париже, — список получился длинным. Сопровождать царя и следить за его безопасностью было поручено маршалу Тессе, как человеку прекрасно воспитанному и не знающему, куда девать время. Осмотр города начался 12 мая в четыре часа утра — Петр встретил рассвет на Королевской площади, любуясь тем, как солнце багровым пламенем горит в окнах домов и дворцов. На следующий день он перешел на левый берег Сены и побывал в обсерватории, на знаменитой королевской мануфактуре по изготовлению гобеленов и в Ботаническом



саду. Наскоро покончив с изящным — парками и дворцами, оставшееся время он посвятил ремесленным мастерским и торговым лавочкам, где все внимательно разглядывал и обо всем дотошно расспрашивал. В Доме инвалидов, где получали кров и уход четыре тысячи ветеранов и калек королевской армии, он отведал солдатского супа, выпил за их здоровье вина и похлопал по спине нескольких инвалидов, назвав их своими камрадами. Французская же армия не вызвала у него восторга. После просмотра он поморщился: «Я видел нарядных кукол, а не солдат. Они ружьем финтуют, а в марше только танцуют».

Эти прогулки Петр в основном совершал пешком, но иногда останавливал первую попавшуюся карету, высаживал седока и уезжал. В этих случаях бедный Тессе сбивался с ног, отыскивая исчезнувшего царя.

Петр носился по городу очертя голову, пока его не свалил очередной приступ лихорадки. Тогда он сбавил темп и дал регенту увлечь себя в Оперу. В отведенной царю ложе герцог Орлеанский сам, стоя, прислуживал ему с подносом в руках, когда Петр желал охладить себя пивом. Публику весьма удивляло и забавляло это необычное зрелище.

Основные сведения о личной жизни царя парижане получали от Вертона — повара в отеле «Ледигьер», которому было поручено кормить Петра и его свиту. «Невероятно, — рассказывал Вертон, — сколько царь съедал и выпивал, садясь за стол всего дважды в день, не говоря о том, сколько он поглощал пива, лимонада и прочих напитков в промежутке. Что до его свиты, то они пили еще больше: после еды каждый опустошал по крайней мере бутылку-другую пива, а иногда еще — вина и крепких напитков».

Регент познакомил Петра со своей матерью — шестидесятипятилетней сплетницей Шарлоттой Елизаветой. Пожилая дама была очарована царем. «Сегодня у меня был великий посетитель, мой герой — царь, — записала она. — Я нахожу, что у него очень хорошие манеры... и он лишен всякого притворства. Он весьма рассудителен. Он говорит на скверном немецком, но при этом объясняется без затруднения и скованности. Он вежлив во всем, и здесь его очень любят».

Действительно, многие французские вельможи меняли свое первоначальное неблагоприятное мнение о царе. Маршал Виллеруа писал старой фаворитке короля-солнца госпоже де Мен-



тенон: «Я должен вам сказать, что этот монарх, которого называют варваром, вовсе не таков. Он проявляет великодушные и благородство, которых мы в нем никак не ожидали».

Париж делал свое дело.

Впрочем, старая владычица не разделила восторгов своего корреспондента. Дело в том, что, отправляясь в Версаль, царь и его спутники захватили с собой целый букет дам веселого поведения, которых разместили в бывших покоях благочестивой старухи. Госпожа де Ментенон, жившая в монастыре, куда она удалилась после смерти короля-солнца, была потрясена осквернением своего храма добродетели. Личная встреча с царем лишь усугубила ее неприязнь. Чтобы скрыть свой возраст, фаворитка приняла Петра в сумерках, задернув шторы и оставив лишь узкую полоску света. Но Петр, войдя в комнату и желая получше рассмотреть бывшую красавицу, безжалостно раздвинул шторы, сел рядом с ней на кровать и в упор уставился на нее. Обоюдное молчание тянулось довольно долго. Наконец царь спросил, какой недуг ее гложет. «Старость», — прошамкала старуха. Царь посидел еще, потом встал и молча вышел.

В свою очередь, Петр остался чрезвычайно недоволен своим посещением Фонтенбло, где его принимал граф Тулузский, один из внебрачных сыновей добродетельного короля-солнца. Хозяин уговорил царя поучаствовать в охоте на оленей. Вышел конфуз. Французские дворяне верхом носились по лесу, ловко перемахивая через ручьи и поваленные деревья, царь же насилу вынес бешеную скачку и, преодолевая одно препятствие, едва не свалился с лошади. Рассерженный и пристыженный вернулся он во дворец, во весь голос ругаясь, что охоты этой он не понимает, не любит и находит ее слишком жестоким развлечением. В знак своего неудовольствия он отобедал один, без графа Тулузского, и в тот же день уехал. Сопровождавший царя герцог д'Антен не был допущен в царскую карету — и не пожалел об этом, так как дорогой от обильной еды и выпивки Петра вырвало.

Так прошло шесть недель пребывания Петра во Франции. Пора было знать и честь. В дипломатическом отношении визит был бесплоден — царю не удалось заключить ни военного союза, ни сосватать Елизавету за малолетнего «каралища».



Напоследок он еще раз сходил в обсерваторию, взобрался на башню собора Нотр-Дам и посетил больницу, где при нем оперировали катаракту. Искусство гораздо меньше интересовало его, а знаменитый зал Лувра, где хранились королевские драгоценности на сумму в тридцать миллионов ливров, вызвал у него презрительную гримасу — счел, что деньги выброшены на ветер.

Пошла чередой прощальных визитов, которые закрепили двойственное отношение французов к Петру. Кардинал Дюбуа находил, что царь просто чудак, рожденный, чтобы быть боцманом на голландском корабле. Герцог Сен-Симон записал в своих знаменитых мемуарах, что это был монарх, «внушавший восхищение своей безграничной любознательностью ко всему, что имело касательство к управлению, торговле, просвещению, полицейским мерам и прочему... Его отличало дружелюбие, которое отдавало вольностью обхождения, но он не был свободен от сильного впечатления прошлого своей страны».

При прощании Петр изменил своей обычной скупости и пожертвовал пятьдесят тысяч ливров своим телохранителям и еще тридцать тысяч — фабрикам, которые он посетил. Скудные чаевые, раздаваемые им в трактирах, были платой частного человека; теперь за гостеприимство расплатился государь.

Воскресным утром 20 июня Петр незаметно и без эскорта покинул Париж. Его впечатления от прославленного города также были противоречивыми. «Жалею, — говорил он, — что домашние обстоятельства принуждают меня так скоро оставить то место, где науки и искусства цветут, и жалею притом, что город сей рано или поздно от роскоши и необузданности претерпит великий вред, а от смрада вымрет».

В Реймсе Петр сделал остановку, но осмотрел только собор, где хранилось знаменитое Евангелие, на котором веками приносили присягу короли Франции. К изумлению католических епископов и священников, царь нагнулся и вслух прочел древние письма: книга оказалась написанной на церковно-славянском языке — это Евангелие шестьсот лет назад привезла с собой княжна Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, выданная замуж за Людовика I.

21 июня Петр прибыл на курорт в Спа, где провел пять недель — пил воду и лечился. Екатерина скучала и звала его поторопиться, чтобы весело отметить окончание долгой раз-



луки. Петр отвечал: «И то правда, более пяти (рюмок или стаканов вина — С. Ц.) в день не пью, а крепюша по одной или по две, только не всегда: иное для того, что сие вино крепко, а иное для того, что его редко. Оканчиваю, что зело скучно, что... не видимся».

Встретившись в Амстердаме, дальше они поехали вместе. Следующую большую остановку сделали в Берлине. Петр попросил Фридриха Вильгельма поселить его подальше от городского шума. Король отвел ему загородный дворец своей супруги, которая, узнав об этом, чрезвычайно встревожилась: во дворце находилась богатая коллекция фарфора, дорогие венецианские зеркала, а разрушительные привычки царя были хорошо известны еще со времен его проживания в доме адмирала Бенбоу. Чтобы избежать возможных убытков, королева приказала вывезти из дворца мебель и все украшения, которые могли легко разбиться.

Петр и Екатерина прибыли в Берлин водным путем. Фридрих Вильгельм встречал их на берегу. Он помог Екатерине сойти; Петр спрыгнул на землю сам и обнял короля: «Я рад видеть вас, брат Фридрих!» Он попытался обнять и королеву, но та оттолкнула его. Екатерина почтительно поцеловала у королевы руку и представила ей свою свиту — несколько десятков дам, которые все, собственно говоря, были горничными, кухарками и прачками. Каждая из них держала на руках богато одетого младенца и на вопрос королевы, чей это ребенок, отвечала, кланяясь по-русски, в пояс, что это царь почтил ее дитятей. Видя, что королева не удостоила ее дам и взглядом, Екатерина в ответ высокомерно обошлась с прусскими принцессами.

Когда на другой день посланцы короля явились к царю с приглашением на прием у королевы, они застали Петра в объятиях двух фрейлин жены: царь ласкал их обнаженные груди и не прерывал этого занятия во все время, пока королевские придворные держали речь.

За столом у королевской четы Петра посадили рядом с королевой. Когда подали жаркое, он взялся за нож — и в этот момент с ним случился припадок: со страшным, искаженным лицом царь некоторое время размахивал ножом перед самым носом насмерть перепугавшейся супруги Фридриха Вильгельма. К счастью, все обошлось, конвульсии быстро прошли,



и Петр снова принялся за еду. С бала царь тайком улизнул и отправился пешком бродить по городу.

На следующий день Фридрих Вильгельм лично показывал гостю все достопримечательности своей столицы. Между прочими редкостями король похвастался собранием медалей и античных статуэток. Внимание царя привлекла одна фигурка в очень непристойной позе — в Древнем Риме такими статуэтками украшали дома новобрачных. Петр не мог налюбоваться ею и вдруг приказал Екатерине поцеловать ее. Екатерина брезгливо отвернулась. Глаза Петра засверкали бешенством. «Ты головой заплатишь за отказ!» — рявкнул он. Испуганная Екатерина поспешно чмокнула статуэтку, которую Петр потом, не церемонясь, выпросил у Фридриха Вильгельма. Ему также понравился дорогой шкаф из черного дерева, приобретенный Фридрихом Вильгельмом за огромные деньги: Петр увез и его, к всеобщему отчаянию королевской семьи.

Царь погостил у брата Фридриха два дня. Едва он уехал, королева бросилась в свой загородный дворец — к ее ужасу, картина, которую она застала, напоминала разрушение Иерусалима. Чтобы устранить последствия царского гостевания, ей пришлось чуть ли не заново обустроить весь дворец.

В Россию Петр увозил свой портрет, сделанный в Спа Карлом де Моором: величавый государь, исполненный зрелого довольства своим делом, чувствующий себя повелителем всюду — на Сене, как и на Неве. Однако в изгибе губ и особенно в выражении глаз, как будто болезненном, грустном, почти страдальческом, Петру чудилась какая-то придавленность и усталость. Где былая неутомимость, юношеская самоуверенность, неоскудевающая веселость? Царь смотрел на портрет и невольно думал: да, устал человек, " вот-вот попросит позволения отдохнуть немного.

11 октября он возвратился в Петербург. Девятилетняя Анна и восьмилетняя Елизавета ожидали его перед дворцом, одетые в испанские костюмы, а шишечка Петр Петрович встретил отца в своей комнате, в офицерском мундирчике, верхом на маленьком исландском пони. Екатерина, стоявшая рядом с сыном, смеясь, представила Петру «хозяина Петербурга».

Рассмеялся и Петр. Поднял сына на руки, потряс в воздухе. Да, его наследник, самодержец российский! Другого нет. Нет.



Отсутствие Алексея встревожило Петра в конце декабря 1716 года, когда он находился в Амстердаме. Царь поручил своему венскому резиденту Аврааму Веселовскому начать поиски царевича в Австрии; одновременно генерал Вейде, командующий русскими войсками в Мекленбурге, получил приказ прочесать Северную Германию. Дело надлежало хранить в строжайшей тайне.

Вейде отрядил двух офицеров, которые под видом покупки лошадей должны были выведать о местонахождении Г. Ц. (государя царевича). В январе 1717 года один из них доложил, что *имярек* был в Данциге и Кёнигсберге; другой уведомил, что *имярек* ночевал в Вене одну ночь, а куда скрылся, того дознаться нельзя, потому что отправился не на почтовых, а на особливых. Затем оба донесли, что некто останавливался в одном доме в Бреславле, тому недель с девять, сказывался русским купцом, а при себе имеет дочь и двух сыновей: должно быть, *он*.



Царевич
Алексей Петрович



Веселовский действовал успешнее. Он поехал по Данцигской дороге, всюду расспрашивая о русском офицере с женой и несколькими слугами. Так он добрался до Франкфурта-на-Одере. Здесь у воротного писаря Веселовский нашел запись о проезде 29 октября московского подполковника Кохановского, при нем жена его, да поручик Кременецкий, да один слуга. Подполковник остановился в трактире «Черный орел» за городом. Хозяин трактира рассказал, что означенный подполковник поехал в Бреславль. А вагенмейстер, заведующий отправкой почтовых лошадей, вспомнил, что в октябре отъехал по Бреславской дороге на экстрапочте офицер с женой и двумя спутниками. Веселовский повернул на Бреславль.

В Бреславле, опять же у воротного писаря, дознался, что офицер Кохановский с женой и двумя слугами стал в «Золотом гусе». Трактирщик показал, что действительно русский офицер стоял у него два дня, а потом взял экстрапочту на Прагу.

В Праге, в «Золотой горе», Веселовскому сказали, что офицер на экстрапочте уехал в Вену. От долгой дороги с Веселовским случилась лихорадка и разыгрался почечуй, но во исполнение царской воли он в ознобе потащился в Вену.

В австрийской столице он узнал, что известный подполковник стоял за городом в гостинице «Черный орел», а записался польским офицером Кременецким. Купив жене мужское платье кофейного цвета, он на следующий день после приезда ушел пешком — куда, неизвестно. Веселовский бегал по всем притонам и гостиницам города, расспрашивал кучеров, ездил по дорогам, опрашивая на станциях почтмейстеров, — никто ничего не мог сказать.

Наконец 20 февраля участник тайной конференции у императора Дольберг шепнул ему под секретом (не задаром, конечно), что Кохановский находится в цесарских владениях, но у самого императора не появлялся. Веселовский насел на него: где этот офицер? Дольберг пожал плечами. Бог его знает. Впрочем, не поискать ли господину послу в Тироле?

Между тем 19 марта в Вену приехал капитан гвардии и адъютант Петра Александр Румянцев, гигант ростом выше царя. С ним приехали три офицера. Румянцев имел приказ Петра: схватить царевича и доставить его в Мекленбург, под охрану русских войск. Его-то Веселовский и направил в Тироль. В этой маленькой стране в горах слухи распространялись



быстро. Скоро Румянцев узнал, что в Эренберге укрывают какого-то таинственного вельможу. Гвардейский капитан подобрался к самому замку и углядел-таки неизвестного: он! Через несколько дней Веселовский вручил императору разгневанное письмо Петра и объявил, что царскому величеству доподлинно известно, что царевич скрывается в Эренберге. Карл VI сделал удивленные глаза. В самом деле? А ему почему-то об этом совершенно ничего не известно. Впрочем, ему надо проверить все самому, и коль скоро окажется, что господин посол прав, то он отнюдь не намерен вмешиваться в отношения между отцом и сыном. Выйдя от императора, Веселовский тут же отправил Румянцева жить возле Эренберга неотлучно, дабы не проворонить царевича.

Вскоре в Эренберг приехал секретарь императора Кейль и привез Алексею известие о разоблачении его инкогнито. Ему велено было спросить царевича, что тот намерен делать дальше — желает ли возвратиться к отцу или будет и впредь просить защиты у императора? Если он выбирает последнее, то ему следует укрыться в более надежном и далеком месте — в Неаполе.

Страх, жуткий животный страх пронзил Алексея. Права была тетка — нигде ему не скрыться от ужасного отца! Не помня себя он бегал по комнате перед ошарашенным Кейлем, размахивал руками, рыдал, выкрикивал бессвязные слова. Наконец, упав на колени, царевич заломил руки и взмолился именем Бога и всех святых спасти его. Он готов ехать, куда скажет цесарь, только бы его не выдавали отцу, иначе он погиб!

Наутро все было готово к отъезду. Алексей переоделся в мундир имперского офицера, наклеил усы и бороду и сел в карету вместе с Евфросиньей, все это время не снимавшей костюма пажа, и одним слугой. На остановках в Инсбруке, Мантуе, Флоренции и Риме Кейль прилагал все силы, чтобы удержать царевича от безудержного пьянства, которое могло привлечь к нему внимание. 6 мая секретарь отправил депешу в Вену о благополучном прибытии в Неаполь, присовокупив, впрочем, несколько слов о каких-то подозрительных людях, постоянно кружащих возле известной его императорскому величеству персоны.

Эти подозрительные личности, замеченные бдительным оком Кейля, были не кто иные, как Румянцев со товарищи, которые проследили весь путь царевича от Эренберга до Неаполя.



Однако на первых порах никаких поводов для беспокойства не возникало. Алексей со спутниками разместились на ночь в одной из гостиниц города. Утром 7 мая Кейль вручил вице-губернатору Неаполя графу Дауну письмо императора с требованием обеспечить царевичу надежное укрытие. Вечером следующего дня закрытая карета отвезла Алексея с Евфросиньей в замок Сен-Эльмо.

Очутившись в этой неприступной крепости, чьи мощные, покрытые коричневатым мхом стены и башни смотрели через Неаполитанский залив на Везувий, Алексей вновь успокоился за свое будущее и первым делом сел за письменный стол, чтобы уведомить Сенат, духовенство и народ о том, что он жив и скрывается от несправедливых гонений. Всех своих преверженцев он просил «не оставить меня забвенна». Затем он с легким сердцем предался своим обычным занятиям — чтению и молитве. Тем временем у Евфросиньи округлился живот, и она сняла, наконец, мужскую одежду. Это событие вызвало улыбку у Шёнборна, который извещал одного своего корреспондента, посвященного в тайну бегства царевича: «Наконец-то признано, что наш маленький паж — женщина. Объявлено, что это любовница и необходимейшая персона».

И Шёнборн, и имперские министры, и сам император были твердо убеждены, что на сей раз царевич укрыт как нельзя более надежно. Поэтому все они пришли в совершенную растерянность, когда в последних числах июля в Вену явились тайный советник Петр Андреевич Толстой и капитан Румянцев с письмом царя о выдаче сына (Петр тогда находился на курорте в Спа). В письме точно называлось местонахождение царевича — замок Сен-Эльмо в Неаполе, а чтобы император не вздумал отпираться, Петр особо подчеркивал, что Румянцев своими глазами видел, как Алексея перевозили из Эренберга в Неаполь.

Однако бесспорная осведомленность царя не делала поручение Толстого более легким. Царская инструкция, данная Петру Андреевичу, предусматривала различные повороты дела. В случае, если император наотрез откажется выдать Алексея, Толстой должен был пригрозить разрывом отношений России с Австрией. Если же венский двор признает факт нахождения царевича в его владениях, но займет выжидательную позицию, Толстому следовало добиваться свидания с Алексеем, чтобы в личной беседе склонить его к возвращению. Для пущего воз-



действия на сына царь заготовил полный набор родительских увещаний — от воззваний к совести Алексея, какое он отцу «тем своим поступком бесславие, обиду и смертную печаль, а себе бедство и смертную обиду нанес», до угрозы отцовского проклятия и выражения твердого намерения добиваться от императора его выдачи, хотя бы и силой оружия. А дабы царевич не смел жаловаться на отца «за принуждение», Петр приказывал Толстому предъявить императору копию своего письма к сыну, в котором обещал Алексею прощение за его проступок.

Выбор царем исполнителя для такого сложного дела был, конечно, не случаен. Семидесятидвухлетний Толстой был не только старейший и опытный дипломат, сослуживший Петру памятную службу в Стамбуле. В 1697–1699 годах Петр Андреевич исколесил Италию в качестве волонтера, познакомился со страной, местными обычаями, выучил итальянский язык. Знал Петр и то, что исполненный змеиной мудрости старец, почитывавший Макиавелли в оригинале, сумеет в случае нужды преступить через чувства — свои и чужие — ради государственной пользы.

Император не осмелился идти на обострение отношений с царем. И ради чего, собственно? Многовековая династическая политика Габсбургов, эгоистическая и расчетливая, приучила венских правителей не особенно считаться с чувствами монарших детей; им не раз случалось предавать и собственных эрцгерцогов и эрцгерцогинь. 18 августа Имперский совет известил Толстого, что царевич сам волен решить, ехать ему к отцу или оставаться, о чем уважаемый царский посол может спросить его лично; что касается его императорского величества, то он будет всячески склонять царевича к примирению с отцом. Карл VI умывал руки.

И вот Толстой ехал по Италии, направляясь в Неаполь. Несмотря на спешку, он не упускал случая оживить свои впечатления восемнадцатилетней давности. Все так же восхищался творениями итальянских мастеров — картинами и скульптурами, которые уму человеческому непостижны и так живы и хороши, что подлинно описать невозможно; так же поражался громогласию органов, потрясавших стены соборов, и удивлялся обилию находящихся в руках католической церкви христианских святынь, благодаря которому он еще в свой прошлый приезд раз и навсегда перестал именовать латынян погаными.



Только перед древними статуями античных богов Петр Андреевич по-прежнему останавливался неохотно — уж этим-то идолищам место не на городских площадях, а в аду. Зато, забыв про возраст, заглядывался на томных итальянок, зело благообразных, и стройных, и политичных, высоких, тонких и во всем изрядных, впрочем не весьма охочих к рукоделию, а больше любящих гулять и быть в забавах и прохладах. И в который раз чувствовал глухую зависть к заморской жизни, понеже итальянские люди ни в чем друг друга не зазирают и ни от кого ни в чем никакого страху никто не имеет, всякий делает по своей воле кто что хочет, и вообще все тут живут весело, всегда во всяком покое, без страха, и без обиды, и без тягостных податей. И отчего вот этого хорошего и ладного житья у нас нет, а есть только подати тягостные, вечный страх казни, жестокой муки и ссылки? Вот и ему на старости лет приходится выбирать: или любой ценой увезти царевича отцу на расправу, или самому положить голову на плаху... Эх, умная голова, суди Божьи дела, а воля царская неподсудна.



П. А. Толстой.
Художник И. Г. Таннаур,
1719 год



26 сентября ничего не подозревавшего Алексея пригласили во дворец графа Дауна. Войдя в приемную залу, он с ужасом увидел рядом с вице-королем улыбающегося Толстого и грозно нахмурившегося Румянцева. Оба приветствовали государя царевича, великодушно не замечая бившей его дрожи. Затем Толстой стал вслух читать ему письмо Петра:

«Мой сын! Понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему; но наконец обольстя меня и заклинаясь Богом при прощении со мною, потом что учинил? Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию, что не слыхано не точию между наших детей, но ниже между нарочитых подданных, чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд Отечеству своему учинил!

Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Буде же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаюсь Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься.

Буде же чего не учинишь, то, яко отец, данною мне от Бога властью проклиная тебя вечно. А яко государь твой, за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине.

К тому помяни, что я все не насильством тебе делал, а когда б захотел, то почто на твою волю полагаться — что б хотел, то б сделал...»

Алексей слушал вполуха, все время поглядывая на Румянцева в ожидании, что тот вот-вот вынет шпагу и бросится на него. Только когда граф Даун разъяснил ему, что в отношении его не будет применено никакого насилия, Алексей понемногу успокоился. Толстому ответил, что ничего не может теперь сказать, потому что надобно мыслить об этом деле гораздо.

Через два дня во дворце вице-короля состоялось второе свидание. Алексей объявил, что боится ехать к отцу, боится так скоро предстать перед его разгневанным лицом (ведь батюшка так горяч), а потому полагает за лучшее остаться под протекциею цесарской. Толстой мигом стер участливую улыбку со своего лица и пригрозил, что в таком случае царское величество



будет доставать его вооруженной рукой и не остановится, пока не вернет сына живым или мертвым. Испуганный, Алексей отпрянул от него, схватил Дауна за руку и потащил в соседнюю комнату, умоляя графа не выдавать его отцу. Даун уверил, что здесь ему ничего не грозит. Успокоенный, царевич вернулся к Толстому и сказал, что, пожалуй, сначала сам спешется с батюшкой, а потом уже даст окончательный ответ.

Сокрушенный его упорством, Толстой отписал царю: «Сколько, государь, можем видеть из слов его, многими разговорами он только время продолжает, а ехать в Отечество не хочет, и не думаем, чтобы без крайнего принуждения на то согласился». Веселовского же известил, что «ежели не откажется наше дитя протекции, под которою живет, никогда не помыслит ехать». Пока писал, уносился мыслью к тому, как бы потесней обложить царевича со всех сторон, и письмо венскому резиденту закончил так: «...Сего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит».

Толстой плел сети вокруг Алексея в истинно византийско-турецком духе — не зря столько лет провел в Царьграде. Подкупив секретаря вице-короля, он поручил ему шепнуть царевичу, будто здесь, в Неаполе, слышно, что император склонен выдать его отцу. В то же время он убедил и Дауна всячески подчеркивать перед Алексеем, что его убежище в Неаполе ненадежно. Сам же тревожил Алексея известиями, что царское войско во главе с самим Петром приближается к границам Австрии. «А уж когда сам государь сюда приедет, — жестко щурил глаза Толстой, — кто помешает ему встретиться с тобой?» При одной мысли об этом у Алексея немел язык и отливала кровь от сердца.

Царевич колебался, но все еще медлил повиниться перед отцом. Наконец Толстой хлопнул себя по лбу. Ах, старая голова! Девка — как он мог про нее забыть? Поспешно нахлобучив на себя парик, он помчался к Дауну. Царь не намерен ни в чем принуждать царевича, но Евфросинья — она является царской подданной и должна быть немедленно отправлена в Россию. Даун задумчиво склонил голову набок. Пожалуй, господин посланник прав... Он сейчас же оповестит царевича, что право убежища не распространяется на его любовницу. Толстой проводил вице-короля ликующим взглядом. Как-то теперь запоет наше дитятко?

2 октября, к вечеру, он получил записку Алексея: «Петр Андреевич! Буде возможно, побывай у меня сегодня один и письмо... что



получил от государя-батюшки, с собою привези, понеже самую нужду имею с тобою говорить, что не без пользы будет».

Спустя час Толстой уже стоял перед ним, внутренне дрожа от нетерпения. Ну давай же, родной, давай говори заветные покаянные слова и — домой: на престол или на плаху, это уж как Богу и государю угодно будет. Но Алексей не спешил начать разговор. Взяв письмо отца, он отошел к окну, рассеянно скользнул взглядом по строчкам и опустил руку. Взор его устремился вдаль — туда, где в свете тихой вечерней зари, меж синих скал, отливала багрянцем неподвижная гладь залива, с опрокинувшимся в него лиловым конусом Везувия. Какая краса, какой покой!..

За его спиной Толстой, томясь, до крови кусал себе губы. Да что это с царевичем, заснул, что ли? Вкрадчивым голосом он начал все сначала: вернуться бы надо Алексею Петровичу, ведь позорит государя, родного отца, и навлекает на себя его гнев и грозную кару; а вернется — и лаской встретит батюшка своего блудного сына, все простит, ей! На то и в державном письме слово имеется...

Алексей словно очнулся. Страшный призрак отца встал перед его глазами. Царевич содрогнулся. Не может он простить! Не для того зовет! Он не отец, он — царь, он — сама новая, немилосердая, ненавистная Россия со своим антихристовым законом, в нем же — ужас и смерть...

Он разлучиться с Евфросиньей?..

Он снова опустил глаза на письмо, которое держал в руке, и родительские слова загремели в его ушах, как зов архангельской трубы. Силы покинули Алексея. Беспомощным отцовским рабом почувствовал он себя, и в этом привычном чувстве судорожно искал последнюю надежду... Он покоряется. Слышишь ли, государь и отец? Он покоряется... Господи, спаси и помилуй!

Толстой постарался подавить злую улыбку. Он торжествовал.

4 октября Алексей отправил Петру собственноручное письмо с просьбой о прощении. Кроме того он попросил Толстого известить отца об условиях, на которых он согласен вернуться в Россию, — чтобы ему было позволено жениться на Евфросиньи и жить с ней в деревне. Толстой обещал.



17 ноября из Петербурга пришел ответ:

«Мой сын! Письмо твое, в четвертый день октября писанное, я здесь получил, на которое отвечаю, что просишь прощения, которое уже вам пред сим чрез господ Толстого и Румянцева письменно и словесно обещано, что и ныне паки подтверждаю, в чем будь весьма надежен. Также о некоторых твоих желаниях писал к нам господин Толстой, которые также здесь вам позволятся, о чем он вам объявит».

У Алексея на душе полегчало. Да и все вокруг, казалось, вздохнули с облегчением, а граф Даун, провожая русских, выглядел просто счастливейшим из смертных. Не благодумствовал один Толстой. Пока царевич не пересек российской границы, за ним нужен глаз да глаз. Как знать, откуда может прийти соблазн? Чтобы еще теснее обложить зверя, Петр Андреевич принялся обрабатывать Евфросинью. Пускай она как следует смотрит за царевичем, чтоб он не выкинул чего. Сама знает, какое невиданное счастье ждет ее в России, и последней душой будет, если проморгает его. Толстой беспокоился не напрасно. Когда проезжали Рим, Евфросинья явилась к нему и с довольным видом сообщила, что царевич опять приуныл и советовался с ней, как бы им отдаться под папскую протекцию, да она его отговорила.

Однако в Венеции Толстому пришлось расстаться со своей помощницей. Быстрая езда утомляла беременную Евфросинью, впереди же путешественникам предстояло преодолеть зимние Альпы, и Алексей настоял, чтобы она перезимовала в Италии.

Толстой удвоил меры предосторожности — и перестарался. Еще до отъезда царевича из Неаполя император выразил желание принять его в Вене, чтобы лично услышать от него о добровольности принятого им решения. Но Толстой уговорил Алексея проехать Вену ночью, не известив императора. Узнав об этом, Карл VI взволновался. Ему, собственно, все равно: едет царевич к отцу — и слава богу. Но его императорский престиж, его долг чести требуют лично убедиться, что царевича не волокут насильно. Вот скажет, что едет своей волей, — и скатертью дорога!

Когда ранним утром 8 декабря кареты с Алексеем, Толстым и Румянцевым въехали в Брюнн, моравский губернатор граф Колоредо уже держал в руках императорское предписание задержать путешественников до тех пор, пока царевич сам не подтвердит свое решение возвратиться к отцу. Спустя



час гостиница, где остановились русские, была окружена солдатами. Колоредо пытался войти в нее, но был остановлен Толстым, который встал у дверей с обнаженной шпагой в руках и заявил, что проткнет любого, кто осмелится переступить порог. Озадаченный Колоредо списался с императором и получил подтверждение предыдущего приказа; император добавлял, что моравский губернатор должен увидеть царевича любым путем, не останавливаясь даже перед применением силы. С императорским письмом в руке губернатор вновь отправился в гостиницу. На этот раз Толстой уступил; Колоредо проводили к царевичу. В присутствии Толстого и Румянцева Алексей извинился за свой поспешный проезд через Вену тем, что не имел приличного костюма для визита к императорскому двору, а его дорожное платье было забрызгано грязью; теперь же он едет к отцу, куда его влекут собственная воля и сыновнее чувство. Колоредо с видимым облегчением поклонился и вышел.

Алексей продолжил путь. С дороги он без конца слал письма Евфросинье, тревожась о здоровье «матушки, моего друга сердешнинького, Афросиньюшки». Сообщая ей о том, как протекает его путешествие, советовал: «И ты, друг мой, не печалься, поезжай с Богом, а дорогою себя береги. Поезжай в летиге⁵⁴, не спеша, понеже в Тирольских горах дорога камениста... а где захочешь, отдыхай, по сколько дней хочешь. Не смотри на расход денежный: хотя и много издержишь, мне твое здоровье лучше всего». Одного из слуг, оставшихся с Евфросиньей, заклинал: «Петр Михайлович! Сука, б., забавляй Афросинью, как можешь, чтоб не печалилась».

А Евфросинья и не думала печалиться. В своих письмах она благодарила Алексея за заботу и писала о своих покупках — тринадцати локтях материи золотной, за которую дано 167 червонных, золотом кресте, серьгах и перстне с рубином — за 75 червонных, да как она каталась в Венеции на «гундоле», а «опры и камедий» за зимним сезоном не застала; и, скучая по родной, домашней пище, просила прислать ей икры паюсной, икры черной и красной зернистой, семги соленой и копченой, сняточков белозерских и крупы гречневой.

Последнее письмоцо Алексей послал ей из Твери, 22 января 1718 года: «Слава Богу, все хорошо, и чаю, меня от всего уолят,

⁵⁴ *Летига* — род экипажа.



чтоб нам жить с тобою, буде Бог изволит, в деревне, и ни до чего нам дела не будет... Для Бога не печалься: все Бог управит».

В конце января Алексея повезли из Твери в Москву, где его ожидал Петр. Дни стояли морозные, солнечные; лошади весело несли сани по укатанной дороге. В городах и деревнях толпы народа встречали царевича криками: «Благослови, Господи, будущего наследника нашего!»

При подъезде к Москве все изменилось — не было ни торжественных встреч, ни приветствий. По приказу Петра у царевича отобрали шпагу и ввели в столицу арестантом.

3 февраля, в понедельник, в Тронном зале Кремлевского дворца собрались высшие сановники государства — министры, сенаторы, генералы, духовенство. Вокруг дворца встали на караул три батальона гвардейцев с заряженными ружьями. По знаку Петра Толстой ввел в зал царевича. Войдя, Алексей окинул быстрым тревожным взглядом лица своих сторонников — на них было написано уныние. Князь Василий Долгорукий, склонившись к князю Гагарину, прошептал: «Дурак-царевич приехал сюда потому, что отец посулил женить его на Афросинье. Гроб ему — не женитьба!»

В следующее мгновение царевич повалился на колени перед царем. Петр спросил, чего он просит. «Жизни и милости», — не поднимая глаз, отвечал Алексей. Петр велел ему встать.

— Объявляю тебе свою родительскую милость и дарую то, о чем просишь, — сказал царь. — Но ты потерял всякую надежду наследовать престолом нашим и должен отречься от него торжественным актом за своей подписью.

Алексей покорно склонил голову. Это не все, продолжал Петр. В знак полного раскаяния царевич должен назвать имена тех, кто посоветовал ему бежать от родного отца. Алексей в смятении оглянулся по сторонам и, приблизившись к отцу, прошептал ему что-то на ухо. Они направились вдвоем в соседнюю комнату. Там Петр грозно сдвинул брови. Ну? Алексей, побледнев, назвал Ивана Афанасьева и Кикина. У Петра дернулась щека. Все? Царевич кивнул.

Они вновь появились перед собранием. Церемония продолжилась. Вперед выступил Шафиров и зачитал манифест



об отстранении Алексея от престола. Петр припомнил сыну все его вины, ничего не забыл. Начал с описаний своих стараний дать царевичу должное воспитание и образование: «...И для того ему от детских лет его учителей не токмо русского, но и чужестранных языков придали и повелели его оным обучать», чтобы обучен был «читанием на оных и гистории и всяких наук воинских и гражданских, достойному правителю государства принадлежащих». Однако все отцовские старания не пошли впрок — наследник наук не познал, прилежания не проявил и учителей не слушал. Не помогли ни отеческие внушения, ни наказания. Более того, царевич «ни к воинским, ни к гражданским делам никакой склонности не являл, но упражнялся непрестанно в обхождении с непотребными и подлыми людьми, которые грубые и замерзлые обыкности имели». Не образовался сын и после женитьбы — с супругой жил в крайнем несогласии. Тогда-то и лопнуло отцовское терпение, и царевич был предупрежден, что Петр, как государь, не может «такого наследника оставить, который бы растерял то, что чрез помощь Божию... получил, и испроверг бы славу и честь народа российского, для которого отец и здоровье свое истратил, не жалея в некоторых случаях и живота своего».

Далее повествовал Петр о том, как царевич признал себя недостойным наследия, а он пытался его «на путь добродетели обратить» и вызвал в Данию, но сын отдался под протекцию чужестранного государя. «И хотя он — сын наш, за такие свои противные от давних лет против нас, яко отца и государя своего, поступки, особливо ж за сие на весь свет приключенное нам бесчестие чрез побег свой и клеветы, на нас рассеянные», достоин был царевич «лишения живота», однако отец решил сохранить ему жизнь, с тем чтобы он отрекся от престола в пользу «другого сына нашего, Петра».

В гробовой тишине Алексей еле слышным голосом произнес слова заготовленного для него «Клятвенного обещания» — об отречении от престола в пользу своего сводного брата, царевича Петра Петровича, после чего подписал бумагу. Затем все пошли в Успенский собор, и здесь Алексей поклялся перед крестом и Евангелием «воле родительской во всем повиноваться и того наследства никогда ни в какое время не искать, и не желать, и не принимать его ни под каким предлогом». Все присутствующие начали



присягать новому наследнику. В последующие дни Москва, Петербург и вся Россия целовали крест Петру Петровичу.

Вечером 3 февраля в Преображенском был дан большой пир. Разошлись, как обычно, далеко за полночь, но царь отправился не в опочивальню, а в свой рабочий кабинет. Ему не спалось, он мучился подозрениями. Весь вечер, за пиршественным столом, ему казалось, что на него смотрят не лица, а личины. Сын назвал двоих. Вздор! Изменников гораздо больше — они вокруг, они не оставили свои коварные замыслы! Сейчас небось думают, что легко отделались. Как бы не так! Розыск только начинается. Уже нарушив свое слово — о безусловном прощении сыну, Петр не собирался держать его и дальше. В возбуждении он придвинул к себе бумагу и чернильницу, взял перо...

На другой день Толстой вручил Алексею опросные пункты, написанные царем собственноручно. Письменное приглашение ответить на них звучало угрожающе: «Понеже вчерашь прощение получил на том, дабы все обстоятельства донести своего побегу и прочего тому подобного, а ежели что утаено будет, то лишен будешь живота; на что о некоторых причинах сказал ты словесно, но лучше очистить письменно по пунктам. Все, что к сему делу касается, хотя что здесь и не написано, то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди, а ежели что укроешь и потом явно будет, на меня не пеняй: понеже вчерашь пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон».

Алексей засел за ответ. Четыре дня писал он длинную, бесвязную повесть о своей жизни. К уже названным прежде Кикину и Афанасьеву примешал всех, с кем когда-либо говорил о своих отношениях с отцом, — учителя Никифора Вяземского, тетку, царевну Марию Алексеевну, дядю Авраама Лопухина, сенатора Петра Апраксина, брата адмирала, сенатора Самарина, Семена Нарышкина, князя Василия Долгорукого, князя Юрия Трубецкого, своего духовника Якова Игнатьева и многих других: все они-де учили его батюшку не любить. Одно лицо, одну особу старался всячески обелить и выгородить — Евфросинью: «О письмах твоих ко мне и от меня к тебе она не ведала. А когда я намерился бежать, взял ее обманом, сказав, чтоб проводила до Риги, и оттуды взял с собою и сказал ей и людям, которые со мною были, что мне велено ехать тайно в Вену для делания альянсу против турка и чтоб тайно жить, чтоб не ведал турок. И больше они от меня иного не ведали».



В Москве и Петербурге начались аресты. Городские заставы закрыли, аптекарям запретили продавать мышьяк, чтобы кто-нибудь из подозреваемых не отравился. Названных царевичем лиц брали ночью, в постелях, и сразу ковали в кандалы и железный ошейник. С дыбы, с кнута добывали у них имена единомышленников, пособников и свидетелей. Давно уже Преображенские застенки не видели такого скопления арестантов — пятьдесят человек, сто, двести, триста... С утра вокруг Преображенского толпился народ — одни приходили сюда в надежде узнать об участии родственников и знакомых, другие — чтобы полюбопытствовать, как идет розыск.

Петр читал допросные листы и удовлетворенно кивал. Вот они, изменники, долгие бороды, попались, наконец! Похоже, Алексей был откровенен. Когда б не духовник его Игнатьев да не Кикин, никогда бы не дерзнул он на такое неслыханное зло... Однако одного имени сынок все же не назвал — матери своей. А так ли уж чиста монахиня Елена? Сдается ему, что без Суздаля в этом деле не обошлось.

10 февраля Суздальский Покровский монастырь окружили солдаты. Гвардейский капитан Скорняков-Писарев перетряхнул сундуки и ларцы в кельях Евдокии, просмотрел даже поминальные списки. Царю отписал, что измена явная: инокиня Елена ходит в мирском платье, а на алтаре монастырской церкви имеется запись «Молитвы за царя и царицу», в которой имена Петра и Евдокии стоят рядом — словно и не было никогда развода и пострижения! Скорняков забрал с собой в застенки Евдокию, всех сидевших в царицыных кельях стариц, крылошанок и девиц, весь церковный причт и монастырскую прислугу, а также игумена Сновидского монастыря Досифея, который открыто молился о здравии царицы Евдокии, — всего полтора человека. Правда, обнаруженные письма Евдокии к Алексею, царевне Марии Алексеевне, брату Аврааму Лопухину и прочим родственникам оказались вполне безобидного содержания. Зато монахини и прислуга с пытки рассказали чрезвычайно интересные вещи о некоем майоре Глебове, с которым инокиня Елена на глазах у всех целовалась и долго оставалась вдвоем в своих кельях. Глебова взяли. «Батяка» давно уже оборвал свою преступную связь, но то ли из мелкого тщеславия, то ли из более глубокой потребности сердца припомнить иногда со вздохом безумную страсть продолжал хранить у себя царицыны письма, аккуратно надписанные:



«Письма от царицы Евдокии». Вместе с этими письмами у обоих нашли по одинаковому перстню. На очной ставке Евдокия призналась и повинилась во всем, однако Глебов заперся; пытки, продолжавшиеся шесть недель, не смогли сломить его упрямства. Ни в чем не признался и никого не назвал и игумен Досифей.

В марте, при непрекращающемся розыске, состоялся суд. Петр ежедневно мчался из застенка в Тронный зал и лично обвинял главных подозреваемых. Судьи — высшие сановники государства — приговорили Кикина и Глебова к мучительной казни, Евдокию постановили сослать на пожизненное житие в Ладожский девичий монастырь, предварительно выдрав ее кнутом, царицу Марию Алексеевну осудили на трехлетнее заточение в Шлиссельбургской крепости. Игумена Досифея судил духовный суд. Его также признали виновным в государственной измене, сорвали с него церковное облачение и выдали на расправу светскому суду. Уходя, Досифей крикнул осудившим его архиереям: «Разве я один виноват в этом деле? Загляните-ка в свои сердца, вы, все! Что найдете там? Пойдите к народу, послушайте его. Что люди говорят? Чье имя услышите?»

16 марта, несмотря на тридцатиградусный мороз, вся Москва собралась на Красной площади, чтобы увидеть казнь. Первым на эшафот поднялся Досифей. Палач растянул его на колесе и молотом раздробил руки и ноги, — в таком виде его оставили медленно умирать. Глебова перед казнью долго и мучительно пытали — били кнутом, жгли раскаленными прутьями, держали на доске, утыканной острыми шипами, после чего посадили на кол и укутали шубой, чтобы продлить его муки; он еще нашел в себе силы сделать кровавый плевок в сторону царя. Кикина также предварительно долго мучили, приводя время от времени в чувство; затем отрубили руки и ноги и растянули на колесе. (На следующий день Петр подошел к нему — Кикин был еще жив и попросил прощения и позволения принять монашество. В последнем ему было отказано, но своеобразное прощение он все же получил — царь велел отрубить ему голову.)

После казни иностранные дипломаты окружили Петра, поздравляя с тем, что ему удалось выявить и обезвредить тайных врагов. Петр согласно кивнул:

— Если огонь встречает на своем пути солому, то скоро распространяется. Но если ему встретится железо и камень, он гаснет сам собой.



К вечеру следующего дня на Красной площади был водружен столп из белого камня с торчащими из него железными спицами, на которые были воткнуты головы казненных; на вершине столпа на каменной плите навалили обезглавленные тела, — среди них выделялся труп Глебова, который как бы сидел в кругу лежащих мертвецов.

Казалось, что все кончено, гнев царя улегся. «Батюшка поступает со мной милостиво, — писал Алексей Евфросинье. — Слава Богу, что от наследства отлучили! Дай Бог благополучно прожить с тобою в деревне...» Все эти месяцы, пока шел розыск, царевич ежедневно так напивался, что пошла молва, будто он помешался. Ни единым словом не вступился он ни за кого из пытанных и казненных и с животной благодарностью смотрел на отца за то, что тот оставил его в живых.

18 марта Петр со всем двором отправился в парадиз. Алексей ехал в отдельной карете. Его мало беспокоило, что Петр распорядился перевезти в Петербург в оковах князя Василия Долгорукого, Авраама Лопухина, Ивана Афанасьева и некоторых других арестованных — для новых розысков. Царевич думал только о Евфросинье. В апреле во время пасхальной службы он упал на колени перед Екатериной, умоляя ее уговорить отца, чтобы ему скорее было позволено обвенчаться.

Однако когда Евфросинья, благополучно разрешившись от бремени, приехала в Петербург, ее доставили не к царевичу во дворец, а в Петропавловскую крепость. В ее вещах нашли черновики писем Алексея Сенату и духовенству, а на розыске она показала: «Царевич из Неаполя к цесарю жалобы на отца писал многожды... и наследства он, царевич, весьма желал и постричься отнюдь не хотел».

Петр опять помрачнел, перестал видаться с сыном. Значит, не все сказал ему Алеша, сын непотребный. Решил схитрить, поводить батюшку за нос. Ну-ну. Однако накотившее на царя обычное недомогание заставило отложить дальнейший розыск.

Прошло четыре недели. Почувствовав улучшение, Петр уехал в Петергоф. Алексей получил приказание следовать за отцом. Спустя два дня туда же на лодке была доставлена Евфросинья. Увидит сынок свою любезную — на очной ставке!



Сначала для допроса в кабинет царя была вызвана Евфросинья. Перепуганная чухонка выложила все как на духу. Она ведала, что творит, знала, чем грозят Алексею ее признания, и тем не менее не задумываясь предала его: подробно описала все его жите-бытие за границей, все его страхи, все ожесточение против отца, — как он радовался слухам о мятеже русских войск, расквартированных в Мекленбурге, как ликовал, прочитав в газете, что заболел малолетний Петр Петрович, как говорил ей, что, став царем, забросит Петербург и вернется в Москву, всех отцовых помощников переведет, а старых добрых людей повысит, что сократит армию до нескольких полков, восстановит древние права церкви... И вернулся-то он в Россию только благодаря ее настойчивым уговорам. А уж каких она страхов с ним натерпелась — того и описать нельзя. В жизнь бы не поехала с ним в проклятую за границу, кабы не угрожал он зарезать ее собственноручно. И в постель-то к себе приволок ее силой...

Ни разу не запнулась, ни разу не спохватилась: «Что я, дура, делаю?» — нареченная Алексея, друг его сердешинький, Афросиньюшка.

Выслушав ее, Петр приказал ей выйти, позвал сына, предъявил ему письменные показания Евфросиньи, добытые на допросах в крепости. Алексей покачнулся, оперся рукой о стол. Стоя на каменном, в черно-белую клетку полу отцовского кабинета, он чувствовал себя заматованным королем. Мысли путались, он лепетал, оправдываясь, что и вправду жаловался на отца в письме к цесарю, но письма того не отослал, одумался; а Сенату и духовенству писал под нажимом австрийских властей... Когда он умолк, пряча глаза от огненного отцовского взора, Петр кликнул Евфросинью. Она вошла и без смущения повторила слово в слово свои показания. Петр в упор смотрел на сына. Ну, что он на это скажет? Потрясенный, Алексей, ощущая могильную тяжесть в груди, забормотал, что да, он припоминает, как ему случалось помянуть батюшку недобрым словом, — но это оттого, что пьян был и себя не помнил; а что желал наследовать, так это потому, что слышал, будто в народе его любят... Язык не слушался его, Алексей сбивался, путался в словах и наконец, зарыдав, повалился в ноги Петру. Он виноват, он слезно кается в своих грехах, но ведь батюшка обещал простить его... Ослепленный яростью взгляд царя сделался почти невидящим. Простить? Обещал? Ну нет, он и так слишком долго нянчился с ним!



Алексей был арестован и посажен в Трубецкой раскат Петропавловской крепости. Но еще восемь дней Петр не решался приступить к расправе. По несколько часов ежедневно простаивал он на коленях перед распятием, моля Господа наставить его, как поступить, чтобы спасти свою честь и не навредить благополучию страны. Но ожесточенное сердце царя было закрыто для восприятия Божественных глаголов. Так и не дождавшись Господнего откровения, Петр повел дело как обычно — своим умом. Да, он дал сыну слово, и оно связывает ему руки. Что ж, в таком случае приговор ему вынесут другие. Его будут судить. Судить как изменника.

12 июня было обнародовано объявление духовенству, генералитету, сенаторам и министрам: «Понеже вы ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете преступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего, и хотя я довольно власти над оным по Божественным и гражданским правам имею... учинить за преступление по воле моей, без совета других; однакож боюсь Бога, дабы не погрешить; ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в них. Також и врачи: хотя б и всех искуснее который был, то не отважится свою болезнь сам лечить, но призывает других. Подобным образом и мы сию болезнь свою вручаем вам, прося лечения оной, боясь вечной смерти. Ежели б один сам оную лечил, иногда бы, не познав силы в своей болезни, а наипаче в том, что я, с клятвою суда Божия, письменно обещал оному своему сыну прощение и потом словесно подтвердил, ежели истинно скажет. Но хотя он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел, и особливо замыслу своего бунтовного против нас, яко родителя и государя своего, но однакож, дабы не погрешить в том, и хотя его дело не духовного, но гражданского суда есть... однакож мы, желая всякого о сем известия и вспоминая слово Божие, где увещевает в таких делах вопрошать и чина священного о законе Божии... желаем и от вас, архиереев и всего духовного чина, яко учителей слова Божия, не издадите каковой о том декрет, но да взыщете и покажете о сем от Священного Писания нам истинное наставление и рассуждение, какого наказания сие богомерзкое и Авессаломову прикладу уподобляющееся намерение сына нашего по Божественным заповедям и прочим Священного Писания прикладам и по законам достойно... В чем мы на вас, яко по достоинству блюстителей Божественных заповедей и верных пастырей Христова стада



и благожелательных Отечества, надеемся и судом Божиим и священством вашим закликаем, да без всякого лицемерства и пристрастия в том поступите».

Неохотно приступили духовные власти к этому делу. Вот ведь сколько лет царь не спрашивал мнения духовенства о своих делах, а тут вдруг требует совета, и для чего — чтобы их устами осудить собственного сына!

Архиереи ответили уклончиво. 18 июня духовный суд представил царю Рассуждение с выписками из Ветхого и Нового Завета, гласившее об обязанности детей повиноваться родителям. Государь волен поступить как ему будет благоугодно. Захочет казнить сына — на то есть образцы и оправдание в Ветхом Завете. В 21-й главе Исхода и в 20-й Левита говорится: «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Второзаконие подтверждает это: «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, — то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут к старейшинам города своего и к воротам своего местопребывания и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница»; тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти». Так что дело это подлежит суду гражданскому, а не церковному. Ну а ежели государь благоволит помиловать свое чадо, то имеет образ самого Христа, который принял кающегося блудного сына и отпустил жену, по закону побиения камнями достойную; Он же сказал: «Милости хочу, а не жертвы». Впрочем, как говорит Священное Писание, «сердце царево в руке Божией есть; да изберет тую часть, амо же рука Божия того преклоняет». Духовные судьи не напомнили, однако, царю его обещаний помиловать сына и простить ему все.

Решением духовного суда Петр остался недоволен. Ловко выкрутились длинные бороды! Ста двадцати семи судьям гражданского Верховного суда — высшим сановникам государства — он напомнил: «Прошу вас, дабы истиною сие дело вершили, чему достойно, не флатируя (или не похлебуя) мне и не опасаясь того, что если сие дело легкого наказания достойно, и когда вы так учините осуждением, чтоб мне противно было, в чем вам клянуся самим Богом и судом Его, что в том отнюдь не опасайтесь, також и не рассуждайте того, что тот суд ваш надлежит



вам учинить на моего, яко государя вашего, сына; но несмотря на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты в день страшного испытания и Отечество наше безбедно!»

Допрос Алексея происходил в зале Сената. Его оправдания были признаны неудовлетворительными. Гражданские судьи объявили царевичу, что хотя и опечалены его поведением, но обязаны исполнить свой долг и, невзирая на то что он сын их всемилостивейшего государя, допросить его «по принятой форме и с необходимым розыском». Алексей побледнел. Эти слова означали, что его будут пытаться.



Петр I. 1716–1717 годы

19 июня состоялся первый допрос царевича с применением пытки. Писарь гарнизонной канцелярии оставил в этот день в гарнизонном журнале лаконичную и бесстрастную запись:



«Его царское величество и прочие господа сенаторы и министры прибыли в гарнизон пополуночи в 12-м часу, в начале, а именно светлейший князь (Меншиков. — С. Ц.), адмирал (Апраксин. — С. Ц.), князь Яков Федорович (Долгорукий. — С. Ц.), генерал Бутурлин, Толстой, Шафиров и прочие; и учинен был застенок, и того ж числа пополудни, в 1-м часу, разъехались». Итак, пытка длилась более двенадцати часов. За это время Алексей получил двадцать пять ударов кнутом. Однако ничего нового от него Петру добиться не удалось.

24 июня пытку повторили: царевичу было дано пятнадцать ударов кнутом; на следующий день — еще девять. Алексей признался в том, что в разговорах с духовником высказывал пожелание смерти отцу; не стерпев мучений, он даже оговорил себя, будто просил у цесаря войско, чтобы отнять у отца престол. Однако в этих показаниях следствие уже не нуждалось. Вечером же 24 июня Верховный суд «с сокрушением сердца и слез изливанием» вынес царевичу смертный приговор — за «мало прикладное в свете, богомерзкое, двойное, родителей убивственное намерение, а именно вначале на государя своего, яко отца Отечества, и по естеству на родителя своего милостивейшего». Судей не смутило, что их приговор был также «мало прикладный в свете»: Алексей был обвинен в двойном покушении на убийство одного лица. Приговор подписали: первым — светлейший князь Меншиков, затем тайный советник князь Яков Долгорукий, канцлер Гаврила Головкин, адмирал Апраксин, граф Мусин-Пушкин, бояре Тихон Стрешнев и Петр Толстой, вице-канцлер Шафиров, генералы Адам Вейде и Петр Бутурлин, князь-кесарь Ромодановский, губернатор Москвы Кирилл Нарышкин, сенаторы и прочие «менее высокие чины». Одна фамилия отсутствовала под приговором — фельдмаршала Шереметева: старик находился в Москве, прикованный к постели болезнью, как полагал Петр — притворной.

Все время, пока шел розыск, Петр был спокоен и не прерывал своих обычных занятий. Вечером в палатах Екатерины доктор Арескин показывал царской чете опыты: вытягивал из-под хрустального колокола, под которым трепетала ласточка, воздух, пока бедная птица не начинала биться в судорогах. «Полно, — останавливал доктора царь, — не отнимай жизни у безвредной твари! Она не разбойник». А Екатерина добавляла: «Верно, дети



по ней в гнезде плачут» — и, взяв ласточку в руки, выпускала ее в окно... Растроганный доктор умилялся. Не изъявляет ли сие мягкосердия монаршего даже до животной птички! Кольми же паче имеет его величество сожаление о человеках!

В иное время из Петра ключом било веселье. Тогда он устраивал заседания всепьянейшего собора в доме нового князя-папы Петра Ивановича Бутурлина, избранного вместо умершего в прошлом году Никиты Зотова (до тех пор Бутурлин носил звание архиерея Петербургского в епархии пьяниц и обжор). Заседания проходили в одной из комнат, называемых «Консистерия», вся меблировка которой состояла из кресел, узких диванчиков и распиленных пополам бочек, поставленных между креслами и диванами и служащих для отправления естественных нужд. Князь-папа возвышался над пирующими, сидя на троне из груды бочонков, пустых бутылок и стаканов. Перед началом пиршества каждый соборянин подходил к всешутейшему патриарху, который протягивал стакан водки со словами: «Преосвященный отец, раскрой рот, проглоти, что тебе дают, и ты нам скажешь спасибо». Затем всю конклавию обносила водкой «княгиня-игуменья», пьяная старуха Ржевская; каждый в знак благодарности целовал у ней обнаженные груди. Прислужникам поручалось накачивать компанию водкой и вином и побуждать пирующих к сумасбродным выходкам и непристойным дурачествам, а также развязывать языки и вызывать на откровенность. Услышав что-либо интересное, Петр вытаскивал из кармана записную книжку и делал пометки. Время от времени князь-папа, переполнив мочевой пузырь, обдавал вонючей струей парики и одежды сидевших у подножия его трона, чем доставлял остальному обществу громадное удовольствие.

Получив на рассмотрение приговор Верховного суда, Петр не торопился ни утвердить, ни отвергнуть его. Он продолжал допросы Алексея, ходил в Трубецкой раскат и в среду 25 июня, и в четверг 26-го. Утро четверга было солнечное, с тихим ветром; эта благодатная погода не испортилась и днем, несмотря на небольшие тучки, несколько раз набегавшие на безмятежно ясное небо. Вечером разомлевший гарнизонный писарь Петропавловской крепости лениво записал в журнале: «26 июня пополуночи в 8-м часу начали собираться в гварнизон его величество, светлейший князь, князь Яков Федорович, Таврило Иванович



(Головкин. — С. Ц.), Федор Матвеевич (Апраксин. — С. Ц.), Иван Алексеевич (Мусин-Пушкин. — С. Ц.), Тихон Никитич (Стрешнев. — С. Ц.), Петр Андреевич (Толстой. — С. Ц.), Петр Шафиров, генерал Бутурлин; и учинен был застенок, и потом, быв в гварнизоне до 11 часа, разъехались. Того ж числа пополудни в 6-м часу, будучи под караулом в Трубецком раскате, царевич Алексей Петрович преставился».

Царевич не выдержал пыток. Полсотни ударов страшного палаческого кнута могли выбить дух и из более крепкого человека.

По Петербургу поползли недобрые слухи. Резидент австрийского императора Плейер вначале известил венский двор, что царевич умер от апоплексического удара, но во второй депеше опроверг предыдущее сообщение, написав, что узника тайно обезглавили — не то топором, не то мечом — и что в крепость привозили какую-то женщину пришивать убитому голову, чтобы тело можно было выставить для прощания. Голландский резидент де Би настаивал, что царевичу было сделано насильственное кровопускание до полной потери крови. В народе шептались, что наследника не то отравили, не то задушили подушками четверо офицеров во главе с капитаном Румянцевым, а кое-кто влагал окровавленный топор в руки самого царя.

Сам Петр своим поведением как будто спешил оправдать эти слухи. Он не утруждал себя лицемерным изъятием горя. Смерть сына не помешала ему на другой день, 27 июня, в годовщину полтавской виктории, быть днем на пиру, а вечером на балу. Через день царь спустил на воду фрегат «Лесная», на палубе которого «состоялось великое веселие».

Однако погребение прошло согласно высокому сану покойного. Тело Алексея уложили в богато украшенный гроб, накрыли черным бархатом и парчовым покрывалом и выставили в церкви Святой Троицы для прощания. Правда, на панихиде, которая состоялась 30 июня, никто из присутствовавших, по повелению царя, не надел траура; однако, когда священник произнес слова царя Давида: «Сын мой, Авессалом! Сын мой, сын мой, Авессалом!» — Петр зарыдал. После службы гроб с телом царевича был перенесен в Петропавловскую крепость; Петр и Екатерина сопровождали его с зажженными све-



чами в руках. Царевича похоронили в новом склепе царской фамилии, рядом с телом Шарлотты.

8 декабря розыск закончился казнью Авраама Лопухина, Якова Игнатьева, Ивана Афанасьева и еще трех близких к царевичу людей. Евфросинья, приобретшая благоволение царя, была выдана замуж за офицера Петербургского гарнизона.

В конце этого черного года на Медном дворе по распоряжению Петра была выбита медаль с изображением расступившихся облаков и горной вершины, озаренной лучами солнца. Сделанная полукругом надпись гласила: «Величество твое всюду ясно».